

По воле ветра...



**Доланта
Сержантова**

6+

Иоланта Ариковна Сержантова

По воле ветра

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57395017

SelfPub; 2020

ISBN 978-5-00140-571-9

Аннотация

Сборник рассказов, притч, новелл и эссе о природе, как об истоках человеческих поступков. Это 17-ая книга автора. Рекомендуется для внеклассного чтения на уроках русского языка, литературы и для освоения школьного курса по предмету "Этика" и "Окружающий мир".

Содержание

Бабочки и жуки	6
Цирк...	8
На живца	10
Бывает ли...	14
Когда спадает жара	16
Загадка	21
Сердце	26
Красивая пара	29
День	32
Ненависть	34
Мимолётное	37
II	39
<i>Setonia aurata</i>	40
По воле ветра...	44
Ослиное ухо	46
...Одним днём	51
Как сама?	53
На Ивана Купала	56
Гусли Страдивари	57
Вишнёвое	64
День был долгим...	66
Последняя капля	71
Им, городским, того не понять...	73

Чудачка	76
Чьего ума дело?	79
Жизнь забавляется нами	81
Зачем они с нами... так?	85
Не умеем...	87
Этого не знает никто	89
Это ли не вопрос...	92
Propinquus	96
Отчий тон	99
Заслужить прощение	101
Водевиль	104
Предтеча любви	107
Маленькое происшествие	108
Коробочка	110
У каждого свои конфеты	113
А если нет?	116
На пыльных полках дней	118
Пустое	120
II	121
III	122
Хорошая девочка	123
Только, чтобы так...	128
Чёрный сарафан в белых горохах звёзд	131
Отчего ж...	133
Сочувствие	136
Милосердие	140

Затем и живём	143
Кактус, который любил гулять	145
Главное	148
Мимолётность	152
Слишком	155
Любовь	157
На волнах вечерних зорь...	161
Очевидное	163
Кузнечик на ладошке	165
Вера, Надежда, Любовь...	167
Судьба	171
Ясность	174
Ястреб	176
Салют	178
Вообрази себе...	182
Вызов	184
Уж облака...	187
На изломе дня	190
Неважное	192
Разумение добра	194
Слёзы	196
Мечты	198
Я сам!	200

Бабочки и жуки

Яркий бесцветный день. На пруду не успевают менять простыни. Стопка тонкого постельного убывает на глазах, дно всё ближе. Рыбам жарко, а кувшинкам, – тем тесно. Не удерживая в тонких руках стеблей тяжёлых подносов листьев, роняют их. Разбивая о берег, бросают тут же, небрежны, небережливы. Хорошо хоть литые на вид шары бутонов нетяжелы и надёжны. Стоят ровно, по пояс или по грудь мокры. Покуда пясть цветка сжата в кулак почки, легка их ноша, по силам, стеблям подстать.

Бабочки, распустив лепестки крыл, с разбега мокаются¹ в воду. Им так много надо успеть испытать, и, если не завершить что, то начать хотя бы, узнать в том себя. Сделать по глотку из каждой чашечки цветка со скатерти ближайшей поляны, иль пригубить. Потрепать за усы всех жуков, а шмелей – шаловливо, по брюшку. И кокетом, кокеткой со всякою птицей, да так, чтобы живу остаться. А зачем, коль недолго? Так – дарёное всё ж, нечужое...

Рядом, усугубляя лихостью свой полёт, – шершни, более чем бесцеремонны, норовят сбить. Да не со зла, вроде, но по-

¹ мокаться, макаться. – Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935

другому не сумеют никак. Выгрызают с наскока горсти воды, и, роняя капли с перкали туго натянутых крыл, кидаются прочь стремглав. Случается, не рассчитав сил, переворачиваются навзничь и, в тщетных попытках взлететь, волнуют равнодушную липкую гладь, что не слишком сговорчива, и так часто жестока. Подчас, иногда, временами, – всё одно, нам ли то изменить.

Сманив посулом скорой безраздельной неги и прохлады, вода не пускает от себя и после. В крайней мере – смахнёт небрежно тыльной стороной волны, внимая мольбам или страху, но даст ли выбраться, позволит успеть? То неясно.

Признайтесь, коли вынесет прибоем к ногам бабочку или жука, – кого будет жальче? Так отчего ж мы так милы с первыми и жестоки ко вторым? По нашей ли прихоти они таковы? А вдруг для кого-то жуки и мы ...

Цирк...

Ласточки в своих иссиня-чёрных трико, как цирковые гимнасты. Под куполом неба на арене пруда выполняют кульбиты, которыми никого не удивишь. Ремесло и умение в нём, тут – единая возможность выжить, не сорваться, разменявшись на пятаки манежа.

Раскачав себя на струнах подвесной, выпускают её из виду и... «Четыре сальто-мортале...», аплодисменты, да после, – большая усталость, но с улыбкой куража в пол-лица и кусочком солнца в груди, – за барьер манежа. Даже он – препятствие, над ним тоже надо-таки взять верх. Но как это, чтобы без радости?! Так не бывает. Преодоление – счастье, даже если для кого-то это и не так.

Ласточки состригают локоны воздуха над водой, а дрозды – силовые жонглёры, расступаясь неуклюже и грузно, мнут крылья, гнут шеи в повороте, ожидая своего выхода. Чуть поодаль, под букетом шиповника, в грим-уборной, щеглы и синицы, в пёстрых нарядах ковёрных. Кто бы знал, хохоча им вослед, как тяжело даётся последняя улыбка.

– Парад – алле! – и сквозь свёрнутую воронкой ладонь, из-под купола вьётся полупрозрачным дымком паутинка лонжи, что не толще паутины лжи. Никогда не знаешь, – подведёт или нет, ведь даже то, что зависит от тебя, от тебя не

зависит.

Не соблюдая очереди, снуют воробьи-униформисты, выхватывают из-под крыльев препятствия и опору. И ничего не остаётся, как ловить кураж, без которого не пройти не то, что по проволоке, но по жизни даже. А так хочется слышать упругий, гибкий голос шпреха, что снова и снова призывает тебя в манеж.

Шмель бурчит подле поддельного цветного ворса цветка. Его старания тщетны, напрасны. Так может оказаться напрасной жизнь, если пропустить свой выход, зайти не туда.

Ласточки, дрозды, шмели... как бы не так. Сложнее всё, проще. Безутешнее последнего «Прости...»

На живца

В детстве я был весьма любознателен, и умудрялся задавать бабушке по сто вопросов на дню. Чем бы они не была занята, – стиркой в широком голубом тазу или чтением, она каждый раз прерывалась, и, глядя мне в глаза, отвечала понятно и подробно. Деду же удавалось избегать и моих «почему?», и своих ответов на них.

Как-то раз он принёс во двор дикую утку-крякву. Она была меньше наших домашних, и не такая белоснежная и статная, как они, а неприглядная, блёклая, как бы кто нарисовал её, а потом начал стирать, да не доделал того. К утиным дед прикасался лишь по осени, когда их надо было рубить, а с этой замарашкой возился по целым дням. Дед посадил утку отдельно от прочих, и каждый день гулял с нею на пруд. Со мной он никуда не ходил, и потому я так обиделся, что не выдержал и спросил однажды:

– Дед! Зачем нам дикая утка, своих мало?

Он прищурился на меня, как бы решая, стоит отвечать или нет, и произнёс:

– Она не дикая, это редкая птица, есть такая порода, называется – подсадная утка. Семёновские да Тульские, говорят, самые лучшие, но я взял нашу, Воронежскую.

Не слишком рассчитывая получить ответ, я всё-таки задал

ещё один вопрос:

– А куда её сажают, на яйца?

Дед было усмехнулся, но решил не баловать внука чрезмерным расположением, а торопясь, явно желая отвязаться от меня, растолковал, что к чему. Оказалось, что такая утка не только приучается не бояться выстрелов и убитых селезней, но также умеет приманивать особым криком пролетающих уток и осаживать их на воду.

– Урону от такой охоты немного, на посадную чаще селезни идут. – Добавил дед и замолчал.

Неизвестно, что поразило меня больше, – то, что дед так вот, запросто, говорил со мной или то, что я узнал о птице. Я никак не мог ожидать, что утка, которую любил только томлёной в печи, начинённую яблоками из сада, может что-то, кроме как пытаться ущипнуть меня за ногу, когда я иду мимо. С недоверием поглядывая на босые, как бы озябшие лапы посадной утки, я вдруг вспомнил, что собирался охолонуться, и пошёл купаться.

Ласточки и трясогузки, заметив, что я направляюсь к пруду, принялись дружно потирать крыльями, и, в предвкушении лёгкой поживы, дразнили друг друга острыми язычками. Потомки динозавров не собирались меня съесть. Всё было намного проще, они намеревались использовать бледное усталое человеческое тело в качестве приманки.

Едва я подошёл к берегу, шершни принялись не в очередь пикировать со всех сторон на спину, а слепни vorовато подбирались ближе к глазам. Они не дали мне полюбоваться цаплей, что неподалёку привередливо выбирала себе жертву среди замерших от ужаса, распластанных на листьях лилий лягушек. Не успел я погладить короткую шерсть камыша, и порадоваться сияющей на мелководье стайке мальков. Из-за назойливого приставания насекомых, мне пришлось почти что на бегу скинуть с себя одежду.

Пытаясь избежать укусов, я не просто бросился в пруд, но нырнул, против обыкновения, с головой. Когда, несмело приоткрыв под водой глаза, так, чтобы под ресницами осталось немного воздуха, я огляделся, то ничего не смог разоб-
раться. Со всех сторон меня окружал зелёный травяной цвет, будто смытая с грязной кисточки акварель. Но опустив голову по направлению ко дну, мне привиделось, как снизу, тёмно-серой тенью, приближаясь всё ближе и ближе, надвигается нечто. В панике выпрыгнув из воды аж по грудь, вместе с немалым количеством воздуха, который выходил из меня, как из прохудившегося мяча, я поспешил к берегу, где меня уже ждали, – разномастный рой насекомых и выкупавшиеся, мокрые до самых подмышек птицы.

Я не рискнул выйти сразу, и, пока не замёрз, стоял на мелком месте, поджав ноги, удерживаясь по шею в воде. Птицы, следуя известному только им порядку, бросались наперерез

каждому, кто покушался попробовать меня на вкус. Временами, войдя в раж, одна из них небожно задевала меня крылом по макушке, что было в определённой мере приятно, если бы вода оказалась хотя чуточку теплее.

Когда я, не попадая зубом на зуб, втискивал, наконец, мокрое тело в рубашку и штаны, птицы, несмотря на то, что уже были сыты, всё так же кружили подле, мешаясь шершням. Я был благодарен им, но крепко запомнил, что на живца ловят не только люди.

Хорошо это или плохо? Наверное – ни то и не другое, это жизнь.

– А по-другому, никак?.. – хотелось спросить мне.

Я был любопытным ребёнком.

Бывает ли...

Поверхность пруда вся в заплатах листьев кувшинки. Они ещё новые, нестиранные, плохо гнутся на коленках. И где ж успела разодрать-то? Кажется, только-только сбросила с плеч плотную накидку льда и щеголяла в новеньком шёлковом шифоне чайного цвета, а вот уже – карманы набиты какой-то чепухой.

Из одного видны мокрые птичьи перья, вишнёвые косточки с жёсткими хвостиками черенков, из другого выглядывает по пояс кареглазая лягушка в веснушках по всю спину, там же – чайная пара и молочный кувшинчик водяной лилии на мясистом стебле. В нагрудном кармане сыто плещется совершенно белая, как подтаявший снег, рыба. Она и вправду делает это, – рукоплещет! То размеренно, а то встанет на месте, призадумается, да как взмахнёт вдруг хвостом, будто ладошкой, – ладно, мол, ну его, пустяки всё это! А что то за безделица была, того нам и не узнать.

Там же, в нагрудном кармане, – фонарик заката и вата облаков, на всякий случай. Зачем она-то нужна, странно тоже, ибо – во всякую пору мокра.

И вот, кажется, совсем уж всего довольно, но, не в состоянии побороть соблазна, в кармане оказывается и улитка с мармеладной ступней, и брошка паука – финифть брюшка

со сканью ажурных ног.

Поверхность пруда, как бы не казалось она поверхностной, прячет подо всей этой мишурой глубину, которую не познать так просто, стоя на берегу, не замочив ног.

- А бывает ли мелок пруд?
- А бывает ли мелок человек?

Когда спадает жара

Когда спадает жара и бледное утомлённое небо со свежей царапиной летящего самолёта на щеке глядит в мерцающую точку вечерней звезды, мы сидим на веранде, спрятав босые ноги под круглый двухэтажный бабушкин стол, достаём календарь, что лежит там, страшно сказать, почти с середины прошлого века, листаем его и чудачимся, поздравляя друг друга с причитающимися дню праздниками. лягушки, что живут в пруду неподалёку, замолкают на это время. Создаётся впечатление, что мы, сами того не подозревая, устраиваем представления, которые скрашивают их будни.

– Ага! Переворачиваем страничку, что тут у нас?.. 12 апреля!

– Да здравствует День космонавтики!

– Сегодня ещё и День рождения Александра Островского! Величайшего драматурга! И он мне, между прочим, очень нравится! Ура!

– Каждому своё. Драматургов много, а полёт в космос был первый!

– Ты уверен, что первый?! Почему лавры достаются только одному человеку-дню? Никто не утирает слёзы по погибшим собакам, крысам и обезьянкам... Никто не славит испытателей, которые калечились здесь, на земле...

– Мы о полёте в космос человека или крысы? Полёт крысы и обезьяны – это другой праздник.

– А... Ну, так, когда голова заболит, вспомни, что, если б не они, пришлось бы тебе прикладывать к голове коровий помёт или холодный капустный лист.

Мы замолкаем, и лягушки, чтобы разрядить неловкость, вновь принимаются квакать. У них антракт. Они негромко и недолго судачат, обмениваясь мнением о нас. И, едва они успокаиваются, мы продолжаем:

– Знаешь, меня иногда занимает вопрос, вот если бы люди делали, что хотели, не опасаясь порицания ни в этой жизни, ни в другой, как бы они себя вели?

– О... Я подозреваю, ты б удивилась.

– Нет, ну, смотри, когда человек свободен, у него пропадают опасения быть смешным, неинтересным, он живёт, не стараясь никому угодить. Прекращая создавать впечатление о себе, на которое тратятся годы, принимает себя таким, каков он есть, истинным, без прикрас и пыли лицемерия. Он честен с собой и окружающими...

– Я вижу ты испортила не один день, чтобы думать про это.

– А что не так? Ведь сколько людей живут навязанной им жизнью!

– Надеюсь, ты не о себе?

Когда он задал этот вопрос, то, в надежде расслышать ответ, лягушки замерли и даже потянулись в нашу сторону со своих плоских широких откидных мест, а он посмотрел на меня внимательно и даже слегка испуганно, так по-детски.

– Надеюсь, что нет. – Честно ответила я.

Он выдохнул, и под одобрительное журчание лягушек проговорил:

– Я расскажу тебе одну крошечную историю, если ты не против.

– Давай! – охотно согласилась я, и принялась слушать.

– В некоей деревушке на берегу тёплого моря есть церковь. Я давно там не был, но, думаю, что она стоит там и теперь. Так вот, эта церковь никогда не запирается. Любой может зайти и уединиться там с Богом. У входа справа – ящичек из сандалового дерева, с несколькими отделениями для свечей и одно для монет. Они лежат там горстью. Люди приходят, меняют деньги на свечи и в жертвенном их пламени возносят молитвы, чтобы быть понятыми, услышанными, прощёнными.

Довольно долго, при каждом удобном случае я заезжал туда, примерно в одно и то же время, и заметил женщину. У неё было довольно неприятное, очень недовольное и потому запоминающееся лицо. Если бы не это выражение, то её можно было бы назвать красавицей. Со стороны казалось, она брезгует самой жизни, но нечто принуждает её к ней. Я стыдился того, что заметил. В тех обстоятельствах, где я ви-

дел её, это было более, чем неуместно. И каждый раз каялся в своём неприятии, пока не заметил, что, выбирая из ящичка самую большую, дорогую свечу, она кладёт взамен неразменную, мелкую монетку.

Женщину привозили к церкви на машине, так что я не думаю, будто она делала это из невозможности расплатиться. К тому же, размер свечи не имеет значения...

Свечи стоят денег, искренность не имеет цены.

Потрясённая услышанным, я молчала. Лягушки, не понимая, окончен ли вечер, ожидали ясности, и не спешили ставить густой воздух сумерек на огонь, по-крайней мере, бульканья слышно не было. И, даже дождавшись финала, не решились сразу возобновить банальную, простительную для честной жизни, возню.

– Нас воодушевляют чужие горести. И мы спешим скорее делать то, что откладывали на извечное, не имеющее сроков, «потом». Мы завидуем соседским радостям, ибо у нас – только свои, привычные и незаметные от того давно. Но, случайно замеченная ложь, заставляет нас говорить правду, даже если нет в том нужды.

Порыв ветра сдунул чёлку леса с помрачневшего чела неба.

Комары, стараясь наверстать вынужденное в жару безде-

ль, принялись ставить пропущенные днём уколы. Нам пора было идти в дом.

Загадка

Тихо ступая, рассвет возжёт холодную лампаду кубышки, а затем подсветил изнутри вишнёвые косточки поспевших уже ягод, по одной. Рубиновая мякоть так трогательно теплится наивными огоньками, что птицы, между желанием насладиться лакомством и приятным видом, выбирают последнее. Полуденный жар непременно сморщит нежную кожу пухлых вишнёвых щёк, и тогда уж не так обидно будет... съесть их.

– Подлей воды в бочку – просит вдруг дед.

Я тут же подхватываю ведро и вприпрыжку бегу к колодцу. Я даже напеваю из-за того, что он обратился ко мне сам, а не через бабушку, которая, передавая поручения деда, всегда глядит поверх моей головы. То ли от жалости или смущения, то ли ещё от чего.

Над колодцем совсем недавно поставили навес, приладили ворот, и я теперь тоже могу носить воду. А вот с прежним, с журавлём, длиннущей палкой, на конец которой цепляли ведро, справиться не удавалось никак. Дед говорил, что у меня «руки короткие». Эти слова очень обижали меня, и я уходил на огород, где пытался отмерить величину рук веткой

крапивы, сравнивая по-отдельности: запястья, ладони, плечи. От того кожа покрывалась мелкими пузырьками, которые я расчёсывал во сне, а озабоченная моей вознёй бабушка, перетряхивала постель поутру, выбивая её с особенным тщанием, отыскивая причину, которая заставляла её любимого внука ворочаться.

Подбежав к колодцу, я ухватился за горячую ручку, отполированную вращением десятков натруженных ладоней, и стал медленно крутить. Конечно, я знал, что, легонько толкнув барабан на себя, можно лихо стукнуть ведром о воду, но делать этого не стал. Мне было приятно ощущать невесомую тяжесть ведра, чувствовать его волнение перед встречей с густым ледяным дном воды, которая кашляла от собственной сырости где-то там, внизу.

Ведро, вежливо склонившись, наполнилось, и, ухватившись за ворот обеими руками, я принялся выкручивать его наверх. Слепни и оводы, пользуясь удобным случаем, нещадно грызли лицо и пробирались под воротник, но отнять рук, чтобы отогнать их, я никак не мог. Едва край ведра сравнялся с верхним бревном сруба, я потянулся, чтобы перехватить ручку и вскрикнул, ибо разглядел, что на самом верху, раскинув в стороны все четыре лапы, тряпочкой лежит лягушка.

От неожиданности я выпустил ведро, и оно рухнуло, сильно ударившись боком о бетон воды. Рукоять барабана, провисев в миллиметре от моего виска, содрала со щеки при-

личную полоску кожи, да завертелась неотвратимо, стараясь догнать и наподдать всему, что полезло «поперёк батьки в пекло».

Мне некогда было разглядеть, жива ли лягушка или нет, и теперь, сокрушаясь о своём малодушии, понимал, что, если даже не убил её падением, то, всё равно... Вода недостаточно холодна для лягушки, чтобы заснуть, комарам же и мошкам, – напротив, поэтому она непременно погибнет от голода, долго не протянет, и вода окажется испорченной надолго. Чтобы достать лягушку, я решил вычерпать колодец.

Наш родник, что питал его, был немолод и нетороплив, вода набиралась нескоро, степенно, особенно это было заметно, когда все соседи разом принимались поливать огороды. Так что, я надеялся успеть до темноты.

Сперва бегал от колодца к бочонку, а, когда наполнил его, натаскал и в баню, и в кадуюшку для полива. Бабушка, с жалостью глядела на моё обгоревшее, сильно искусанное лицо, в разводах испарившейся на солнце соли тонкого помола, но только сокрушённо всплескивала руками, а дед... Тот помалкивал, сидя на крылечке.

Когда я, наконец, услышал из ведра тихое «ква», на дне колодца уже во всю плескалась луна. Зачерпнув лягушку изорванной мозолями ладонью, я крепко прижал её к себе и понёс домой. Пока мы шли, она не пыталась вырваться, но лишь старалась подобрать под себя ослабшие лапки, чтобы те не трепыхались безвольно на ходу.

Не знаю почему, но у бабушки с дедом никогда не было петуха, поэтому обыкновенно мы были избавлены от надрывных криков по утрам. С появлением лягушки, нас будило лакомое, на все лады, бульканье.

– Надо же, удивлялась бабуля, – кто бы мог подумать, что лягушка так интересно поёт. А я-то думала, что она, кроме как квакать, не умеет больше ничего.

Я разместил бедняжку на широком краю деревянной бочки, так ей было сподручнее ловить насекомых, что слетались на водопой. Каждый раз, когда я подходил, чтобы зачерпнуть воды, лягушка сидела смирно, свесив одну ногу с края и не сводя с меня глаз, а если подходил с полным ведром, она тут же подбирала лапку под себя, стараясь не холодить её раньше срока, и нежно, одобрительно, чуть ли не по-кошачьи, урчала.

Однажды вечером, засыпая под вечернюю песню лягушки, я услышал, как дед тихо сказал бабуле:

– Ишь, голосистая какая. – Помолчав немного, он добавил, – Хороший парень растёт.

Впрочем, быть может, мне это только показалось? Я не был уверен.

Кто-то красив из-за того, что его любят. Иной делается

таковым, лишь когда любит сам. Конечно, я обожал бабушку, но дед... Его я, несомненно, любил, как самую главную загадку в своей жизни, которую никак не мог разгадать.

Сердце

Кот поймал бабочку... и отпустил.

Перед тем он долго наблюдал за нею, нервно и бесшумно отбивая ритм кончиком хвоста. Отмечая лёгким кивком места, которые выбирала та для недолгого отдыха, запоминал их, чтобы знать, – где искать, в том небывалом случае, если вырвется она из его объятий ненароком.

Бабочка была некрупной, в аккуратной коричневой юбочке и кружевном фартучке подходящей кремовой расцветки. Пушистые её, смущённые щёчки отдалённо напоминали шкурку пыльного зрелого персика. А усики... Ну, что ж! Когда это они портили юных барышень? В зрелые лета, и то, пушок над верхней губой порождает, подчас, томление в груди у умудрённых жизнью повес.

Залетев в дом случайной гостьей, бабочка старалась быть как можно менее заметной, и перелетала с одной стены на другую, лишь только когда все ложились спать. Вместо того, чтобы требовать для себя особого угощения, довольствовалась сладкими каплями на столе, не замеченными хозяйкой или кошачьей едой, которая всегда лежала в миске. Конечно, это мало походило на густой цветочный нектар, но бабочке казалось неприличным требовать к столу то, чем могла уто-

лить голод она одна.

Кот был непривередлив, но предпочитал сам лакомиться из чужой посуды, оставляя свою только для себя. В один из дней, заметив исчезновение части своего обеда, он решил не ложиться спать, чтобы застать похитителя и воздать тому по заслугам. Несмотря на то, что родители кота признавали лучшей порой для охоты ночь, он давно отвык от этого порядка и, в засаде неподалёку от миски, едва сдерживался, чтобы не уснуть. Но сон-таки его сморил.

Ближе к полуночи луна, из любопытства, заглянула в окошко, и что же увидела она?! Вздыхая коротко и кротко, неподалёку от спящего кота кушала бабочка. Рассерженная, неведомо по какой причине, луна призвала на помощь ветер, тот, из одолжения, постучал в окошко, и кот открыл глаза...

Бабочка в ужасе перелетала с места на место. Она была лишней здесь, взаперти, и знала про это. Запахи трав и цветов манили её через затянутые марлей окна, но где взять столько сил, чтобы вырваться?.. Недолго думая, от отчаяния, бабочка вспорхнула из-под потолка и опустилась на пол, как можно ближе к коту. Ей было страшно, очень. Она попыталась зажмуриться, но не смогла.

Когда кот, сделав строгие глаза, одним прыжком преодолел малое расстояние меж собой и бабочкой, да занёс над

нею лапу, то, неожиданно для самого себя, мягко, почти что нежно накрыл её мохнатой ладошкой, а, ощутив биение отчаявшейся души, убрал осторожно, чтобы ненароком не зацепить. Не раздумывая долго, кот запрыгнул на подоконник и одним движением вспорол марлю, что, пропуская лишь немного цвета, отделяла жизнь от звуков.

Ночь запахла плотнее свой халат и бабочка услышала густой запах мокрой от росы травы, исходивший от неё. Страхась разувериться, она подлетела к окну, где ветер уже во всю играл лоскутами марли и с довольным видом умывался кот. Проход был открыт.

– А вы... вы не пойдёте со мной, – спросила бабочка у кота.

Тот усмехнулся и ответил:

– Я везде свободен, а ты – лети. – Этот кот был фамильярен со всеми.

Бабочка оправила юбку, и присела к нему поближе. Кот смущённо муркнул, накрыл её ладонью на мгновение, и тут же отпустил.

Говорят, у бабочек нет сердца, только тонкая, с головы до пят трубочка. Ну, что же, у многих нет и того.

Красивая пара

Я встретил его поутру, когда шёл купаться.

– Ты куда? – спросил я его. Он что-то пробурчал себе под нос и посторонился, давая мне пройти.

Пожав плечами я пошёл дальше, рассудив, что не должен допытываться о причинах столь странного поведения, ибо у каждого бывает повод не делиться своими мыслями ни с кем. Впрочем, я немного кривил душой, и был, всё же, слегка обижен. Обыкновенно, при встрече он был весьма дружелюбен со мной. Часто шутил, необидно подтрунивал над соседями и не выказывал недовольства, если оказывался объектом шалостей сам. А нынче... Хмурый, исподлобья взгляд, очевидное нежелание поддержать беседу...

Купание в прохладной воде отчасти развеяло моё недоумение. И, хотя не было слышно приятного уху гудения шмелей, которые закатывались мохнатыми шариками в лунки цветов, шершни, чей полёт принуждал нервно озираться, запаздывали, и от того не было необходимости прятать голову в воду.

Когда я возвращался домой, увидел его опять. Мой знакомец стоял недалеко от того места, где мы повстречались поутру. Он брёл неуверенной походкой, как бы запинаясь, наполовину прикрыв веки, а, завидев меня, загодя отошёл в

кусты, выказывая полное нежелание отвечать на любые вопросы. Пожав плечами, и почти рассердившись, я ушёл. Но на следующий день...

Он шумно шутил, заигрывая с соседкой, та краснела невпопад, а при моём появлении и вовсе скрылась, нырнув под самый большой лист кувшинки.

Я не мог не спросить лягушонка, что, собственно, это было, вчера. И он, виновато переминаясь, рассказал о том, что в тот день родня выгнала его прочь из пруда, настаивая на том, что ему пора жениться, хотя прекрасно знала, что он влюблён в ту особу, что стреляла теперь в него глазками из-под листа.

– Ты ж сам видишь, она ещё слишком молода, придётся ждать ещё целый год. Да и родители просят внуков поскорее...

– Но ты же вернулся!

Лягушонок промолчал.

– Поссорился с родными?

– Угу...

– Не расстраивайся, время пролетит быстро, и вы всё успеете, – и порадовать родню, и поругаться двадцать раз.

– А помириться? – испуганно спросил лягушонок, и я немедленно успокоил его, погладив по голове.

– Да, конечно же! Всё у вас будет, не торопись.

Прислушиваясь к нашему разговору, милая лягушечка с

нежной белоснежной шейкой, что выглядывала из-под яркого изумрудного сарафана, будто воротник сорочки, выбралась на берег и села рядом с лягушонком. Они и впрямь были очень красивой парой, что дало мне повод возмутиться:

– Эх, да как же ты мог... – начал было я, но бабочка, что неслучайно пролетала мимо, хлопнула меня по затылку легонько, предлагая прежде хорошенько подумать о своих проступках, нежели рассуждать о чужих.

День

Отражаясь в волнах листьев смородины, мелко дрожит омытый речной водой рассвет. Прошлый день канул, капнув прохладной слезой росы на землю. И, разбуженное им семя потянулось до треска во всех членах. Не открывая зелёных глаз, ощупало бледным пальчиком корешка округ себя: «Что там?», и только убедившись, что есть куда ступить, делает первый шаг.

Так – в душе.

Воображение мешает осознавать реальность, но пособляет познавать её, находить неведомое, ведёт в такие дебри, из которых нет выхода, подчас, ибо он никогда не нужен, если идёшь к верной тебе стороне.

Оса дразнит лягушку, пролетая близко мимо носа, взмывает на недоступную ей высоту, вынуждая ту на крайние меры. Раскачав упругий лист кувшинки, как батуд, лягушка взлетает и, добавив себе росту ровно на длину языка, салит² обидчицу. Свалившись в воду вместе с нею, не задумывается ни о красоте движений, ни о том, что может стать поводом чьего-то веселия или сторонней немилости. Она взяла свою

² Ударять рукой или мячом убегающего игрока (в некоторых играх).

высотину³, а прочими не озабочена никак.

Виктории⁴ обрастают обстоятельствами намного позже их самих. Додумываются причастием непрichастных, и многими сочувствующими, которые называют именно себя причиною чужого успеха. Ветшают победы и победители, в неустанном поиске новых умственных точек принадлежащих никому небес... А безучастные остаются на месте, как опустевший вдруг муравейник, в который только ступи, рассыпается в прах.

Утекающая водой жизнь, взбивает в пену обретаемую с годами осознанность, уловить которую ни неводом, не ладоною, но только взглядом, проводив в никуда.

Трепет крапивы выдаёт чьё-то присутствие, а река мерцает просочившимся сквозь прорехи ветвей закатом, будто горит... белым светом.

³ высота, рубеж

⁴ победа

Ненависть

Ясным белым днём большое пышное облако напоролось на острый край перламутрового месяца, от чего образовалась приличная прореха, которую надо было бы заштопать, но кому это стоило поручить, не понимал никто. Казалось, именно он, виновник неприятности, должен помочь в столь высоком во всех смыслах, деле. Но месяц, по его собственным словам, совершенно не умел шить, и уронил бы иглу из рук сразу, возмись он за это тонкое ремесло.

Вырезанный из большой морской раковины, он был хрупок на вид, но самый его уголок, заусенец створки, оказывался причиной разного рода обид и неудовольствий для окружающих, которых он часто даже не замечал. Ни тех, не других. И вроде бы не от пробелов в воспитании, не от отсутствия внешних очертаний поведения в обществе. Просто-напросто он был чуточку... немного... слегка подследоват. Чётко видимое другими, представлялось ему в отчасти размытом, смазанном образе. Приметными оказывались лишь наиболее выдающиеся линии, а полутона, как бы ни были хороши и харАктерны, таяли втуне⁵ его относительно недомогания, которого, в силу укоренившейся уже привычки, он не умел распознать. Рождённый с этим недостат-

⁵ напрасно

ком, разглядеть не трудился. Очков же не носил по причине невозможности отыскать достойной его оправы, а пенсне, в виду крайней своей неуклюжести, обронил бы в первый же после обретения день, так он говорил.

– Вот, всем хорош, а то, что близорук и неловок, не беда. Извинить и без повода – радость, а тут... – говорили про него.

Только казалось иногда, будто, используя привычку, месяц держится вполоборота, чаще профилем смотрит, и редко – анфас⁶. Рекомендует себя в приятном, извиняющим все пороки, ракурсе⁷. Но почто, часто неспособный глядеть прямо в глаза, без стеснения подсматривает под подол океану, тревожит его по два раза на дню, а уж если заметит в ночи чьи-то, обращённые к себе, обезображенные болью черты лица, – изведёт без сожаления, обнаруживая невозмутимость, да присущее равнодушным натурам высокомерие и холодность.

А, если что, хлестнёт с нарочитой досадой:

– Не я его обижал, он обиделся сам!

И, – летят по небу разорванные в клочья облака, и бьются на неровные осколки сердца. Сами собой.

– Стоит ли он израсходованного на него сочувствия?

– Ну... а как?! Жалеем-то мы из любви к себе, а вот нена-

⁶ Лицом к смотрящему

⁷ ракурс

ВИДИМ...

Не бывает истраченного попусту сострадания, лишь ненависть напрасна одна.

Мимолётное

I

Всё утро, обсуждая что-то, переговариваются друг с другом лягушка и ласточка. Оказалось, что одна понимает по-лягушачьи, а другая поёт, как птица, не запинаясь, с листа. И ведь смогли же о своём договориться: о том, что сперва ласточка гонит на лягушку слепня, после уж – лягушка загораживает ему дорогу, чтобы птица успела ухватиться за крыло.

И – совсем рядом:

– Та-да-та-да-та-да-та-да! – Отбивая такт хвостом, будто барабанными палочками, трясогузка набивает рот насекомыми. Ловка! Бабочку ухватила так, будто несёт куда на пробу малый белый лоскут, крылья свисают по обе стороны клюва.

Из леса, в довольно истрёпанном виде, прилетела синица, села в сторонке, в самую середину лукошка сосновой ветки, и глядит. Тут же шершень, – шасть мимо, алчет испить водицы. Синица без сил, проводила взглядом только, вздохнула, да так и осталась, приоткрывши рот. Трясогузка, что хотела было за щёку и шершня, глянула на синицу и насыпала ей букашек на дно лукошка, – сторожи, мол, а сама на перехват. Отловила хищника, употребила, и вернулась. Подобрал из корзинки понемножку одного – другого, полови-

ну, по-братски, оставила синичке. Поправляйся, мол, – мы, птицы, должны помогать друг другу. И ушла, тихо качнув душистую сосновую дверь.

II

Не знаю, как у кого, а я, где бы ни шёл, чувствую подошвой изломанные о леденец вечности, молочные зубки мостовой Красной площади. Они местами шершавые, частью скользкие, бывает, что вынуждают замедлить шаг, но никогда не мешаются за зря и не ставят подножку. Они точно знают – каков ты на самом деле. Когда иду не один, меня просят перейти на тротуар, чтобы почти в обнимку с пряником ГУМа, но я упрям, и, ощупывая шагами площадь, бормочу извечное «У каждого свои конфеты». И никак иначе.

Нагулявшись, прихожу домой, а кот «порадовал», промахнулся мимо туалета. Сержусь молча, убираю шумно. Сел в кресло отдышаться, кот – ко мне, – мур, мол, прости, не нарочно, так получилось, а я-то, дурень, морду от него ворочу, строю из себя обиженного. Корячился эдаким манером до вечера и лёг спать один. Но уже в полусне, слышу, – кот подошёл тихонько к подушке, погладил нежно по волосам, вздохнул и ушёл...

Все могут договориться промеж собою, а вот люди друг с другом – ну, никак...

Cetonia aurata

8

и другие

Жук летел из недалеко, выпростав крылья прямо так, не утруждая ножны надкрыльев, молодецки облетал отросшие за первый месяц лета ветки. Те были заметно тоньше и податливее прошлогодних, а, если задевали, то небожно, да и то лишь от того, что навязывались в попутчики. Но кто их отпустит-то?! Сидеть им по всю жизнь на привязи у стволов...

Год появления жука на свет был слишком холодным, поэтому он покинул личинку мальчиком. Приятный, открытый малый, с молодых ногтей дружил с муравьями, и даже подолгу гостил у них дома, играя с ребятами. И конечно, как все мальчишки, любил шалить. Пугал людей, пролетая у них над ухом, грозно голося, а, в порыве показной нежности, преподносил дамам букеты, которые не пропадали, даже если он оказывался отвергнут, ибо, «как и все честные», был вегетарианцем. Задумчиво пережёвывая ненужный очередной де-ве цветок он летел на поиски другой, более отзывчивой особы и беззаботно мечтал.

Вот именно за этим занятием застала его однажды соро-

⁸ Древнегреческое название золотистой бронзовки, означающее “золотистый металлический жук”

ка, и тут же кинулась в погоню. Надо заметить, что жук обладал одной удивительной чертой, которая, украсив его облик, сильно усложняла жизнь. На самом деле бронзовик был совершенно чёрен, но, в силу того, что портной, у которого одевался и он, и вся его родня, был тот ещё затейник, вместо строгого неприметного чёрного, им приходилось надевать металлически-зелёный, синий, а то и медно-красноватый костюм⁹. Так, добро бы – порвал да бросил, но этой одежде не было сносу. Потому-то сорока, как последний ценитель всего красивого и блестящего, при виде пролетающего мимо бронзовика впадала в иступлённое состояние, и не успокаивалась, пока он не оказывался у неё за щекой.

Но на этот раз сороке не повезло. Жук в панике искал, куда спрятаться, и, пролетев насквозь виноградник, оказался прямо у дома человека. Взметавшись, жук понял, что попался, но человек, сообразив, в чём дело, широко распахнул окно ему навстречу. Сорока же благоразумно поостереглась следовать за ним.

Переведя дух и осмотревшись, бронзовик понял, куда попал и решил, что, как бы там ни было, а стоит выбираться отсюда поскорее. Он примерно представлял себе расположение комнат, так как обыкновенно грелся на одном из под-

⁹ микроструктуры покровов преломляют и разлагают свет, создавая игру лучей, и жук кажется металлически-зеленым, синим и даже медно-красноватым; так называемая структурная (оптическая) пигментация

оконников, но летать в доме постеснялся и пошёл в нужном ему направлении пешком.

– Эй, малый! – окликнул его человек, тот самый, мимо уха которого часто с грозным гудением пролетал жук, – ты это зря. На полу мы тебя раздавим на раз. Давай-ка я тебе помогу. – Человек посадил бронзовика на ладонь и, опасливо погладив по сияющей спинке, шутливо спросил, – ну, так, куда изволите?

Собственно говоря, жук и сам не знал, куда ему, и человек распорядился его судьбой по своему усмотрению:

– У меня в саду растёт чудесный куст калины. Я заметил, что не у всех барышень, что живут на нём есть пара. Думаю, какая-нибудь из них придётся тебе по душе.

Как только бронзовик оказался на поляне одного из соцветий куста калины, в кругу милых девиц, то совершенно забыл о недавнем приключении, чуть не стоившем ему жизни, и принялся ухаживать за всеми сразу, не в силах сделать верного выбора. За исключением сей простительной вольности, он и вправду был хорошим парнем.

Жук летел из недалеко. Заприметив знакомое окно, он привычным движением отодвинул занавеску, залетел вовнутрь и осмотрелся. Разглядев человека, опустился на подставленную ладонь, и, благодарно ухватившись за папил-

лярную¹⁰ линию большого пальца, с чувством пошевелил ею, как смог.

Глядя на эту трогательную возню, человек улыбнулся, погладил жука по спинке и понёс к окошку, где, подтрунивая друг над другом, уже поджидали два совершенно одинаковых шафера – шмеля. Для удобства различать кто из них кто, близнецы были наряжены в разноцветные штанишки.

...Выбивая из неглубоких карманов реки лёгкие брызги жемчуга, где-то там, наверху, гроза пересыпает их в большую коробку, чтобы потом, когда-нибудь после, поближе к зиме, вернуть с первым снегом обратно.

– Жаль, что бронзовик этого не увидит.

– А его малыш, обёрнутый в чистую пелёнку, в то же время будет крепко спать, прижав к груди плюшевого муравья.

¹⁰ Папиллярные линии (от лат. papilla – сосок) – рельефные линии на ладонных и подошвенных поверхностях

По воле ветра...

Гроза позабыла зонтик или оставила его нарочно. В разводах белого мрамора и пятнах черничного варенья, что пролила туча, он полностью закрыл небо от звёзд. Их не могло быть заметно дню, и то, что ничего не было видно им самим, не заботило никого.

А посмотреть было на что. По воле ветра, кроны деревьев лились помалу, омывая тёплые ладони воздуха. Редкие листья янтарными плавкими каплями падали на землю. Один за другим таяли и увядали плоды, седели травы и секлись прямо от корней. Сердца рвались наружу из ладных птичьих тел и, взбивая изнутри оперение, роняли душные, с душком¹¹ опахала, теряли силы. Горячий воздух мешался с холодом рассудка, но спасительная тень была не так близка. Два шага – это всегда чересчур.

Уж, нацеливаясь пообедать рыбой, почти присох к берегу, и, задремав от усердия, сглотнул муравья. «Кисленький», – подумал уж. «Темновато», – в тон ему откликнулся муравей.

Порхают белые измятые бабочки, кружат, как разорванная надвое записка, что сброшена с балкона небес. И её

¹¹ засохшая ороговелая ткань пера

непрерывно стоит сложить вместе, чтобы понять, – что же там, от кого. Без этого не постичь смысла. «Смысла чего?» – спросите вы, а я отвечу, – да какая разница?! Каков бы он ни был, его нам всё равно не застать¹².

¹² постигать

Ослиное ухо

13

Он проходил это место не впервые, и каждый раз выхватывал боковым зрением нечто, что не вписывалось в прежний облик редколесья. Конечно, с памятью у него уже было не очень, да и зрение тоже подводило в последнее время, но по опыту он знал, – сомнения без повода не тревожат, и наверняка стоит остановиться и присмотреться, дабы понять, что к чему. Вот и теперь, понадеявшись на то, что там, куда он спешит, его обождут, замер посреди поляны, и некоторое время не двигался, чтобы урезонить дыхание. В лесу может напугать даже собственное, а вот, чтобы расслышать постороннее, следовало сперва справиться с одышкой.

Как только он перестал быть помехой лесу в собственных глазах, тот тоже ослабил хватку безмолвия, и понемногу начал выпускать из кулака тех, кого так берёт.

Первым на разведку вылетел комар. В попытке разузнать, кто есть кто, стал морочить голову, кружась и напевая на ухо человеку последние сплетни. Когда же от него отмахнулись без досады, присел на руку, ткнулся хоботком, но не уколол, ощутив запах ручья, что питал все колодцы в округе. Один

¹³ (Отидея ослиная) (*Otidea onotica*)

глоток или случайное омовение не обманули бы его, – он сидел на руке человека, кровь которого была настоена на воде родного родника.

– Свой! – неожиданно громко воскликнул комар и слетел на траву.

Лес, не медля, разжал влажную ладонь и, потирая глаза, оттуда выпрыгнула вспотевшая белка, следом сбежала взъерошенная мышь и, припадая на хвост, выпорхнула трясогузка. Косули, оправляя жакеты, что щекотались промеж лопаток извечным размерным ярлычком, поджидали, пока, неуклюже пятясь, сползёт нескладный лосёнок, – так, спиной вперёд, обыкновенно спускаются с печи старички. Последним с ладони леса сошёл кабан, да и то, его пришлось расталкивать всем миром, ибо он дремал, при каждом удобном случае.

Итак, вроде бы всё было на своих необыкновенных местах. Обсматривая друг друга и округу для верности, все сошлись на том, что единственное, чего не было заметно доселе, – эдакое невиданное нечто, неведомо когда подкравшееся и расположившееся у всех на виду, прямо в самом центре поляны.

Потрепав человека за штанину, кабан хмыкнул и пробасил:

– Ну, что ж, по всему судя, оно твоё.

Человек присел на корточки и, пригибая голову набок, как собака, принялся рассматривать. По виду «это» напоминало сваренные макароны, по форме – скорее ракушки:

– Не, не моё. – Замотал он головой, – Я такие не ем. Да, если бы и ел, откуда бы им взяться, на этом-то месте?

– Да ты попробуй на вкус! – подначил его кабан.

– Не стану, и не уговаривай, – отказался человек, поднимаясь на ноги.

– Ну, тогда я! Я и мухоморами не брезгаю... – предложил кабан и потянулся, чтобы откусить.

– Ты обожди, осторожнее, – попросил его человек, – не надо много-то. На всякий случай...

Кабан согласно икнул, и, откусив небольшой кусочек, принялся жевать. Жевал долго, с чувством. Собравшиеся, затаив дыхание, следили за ним.

Через некоторое время кабан-таки чавкнув, проглотил жвачку, и сообщил, пожав плечами:

– Не знаю даже, что и сказать.

– Что?! Что!?! – вопросы посыпались со всех сторон:

– Горько?

– Кисло?

– Сладко?

– Да, никак! – возразил кабан и хихикнул.

– И не пахнет ничем, – сообщил лосёнок. Он чуть ли не втянул в просторную ноздрю «эту странную штуку», силясь уловить её запах.

– А, да, оно как резиновое, – добавил кабан, недолго подумав.

– Та-ак... – зловеще протянула его супруга. – И откуда мы знаем про резину?! Где ты опять шлялся?.. – грозно продолжила она, но её прервала трясогузка:

– Я, я знаю, что это такое.

Собравшиеся разом обернулись на её слова. Отсидевшая хвост трясогузка, заметно хромя, подошла ближе, ещё раз пригляделась, и, кивнув головой, произнесла:

– Точно, я его узнала, это оно.

– Ну, так и что это, в конце-то концов, – за всех поторопил птицу человек.

– Ослиное ухо, – почесав за своим, сказала трясогузка, – Обыкновенное ослиное ухо.

Все принялись смеяться над шуткой, но трясогузка, возмущённо остановила воцарившееся некстати веселье:

– Вы это зря. Я вовсе не шучу!!!

Человек краем воротника утёр слезящиеся от смеха глаза, и, сочувственно глядя на птицу, спросил:

– Ну, что вы, право, откуда у нас тут ослы?!

Трясогузка, покачав с сожалением аккуратной головкой, вздохнула и произнесла размеренным тоном, которым объясняют что-то неразумным младенцам:

– Это – гриб. И называется он – ослиное ухо.

Лес, молчавший по всё время разговора, зашевелился, зашумел:

– А я- то думаю, обратят ли они внимание или нет, а, как заметят, – разберут ли, что это такое. Ну, молодцы, потешили старика. – И, прилично чихнув, добавил, – Он издалека, знакомьтесь, теперь будет жить с нами. Дружелюбен, скромн, неприхотлив, хороший семьянин...

Лес, перечисляя, загибал волосатые пальцы, шуршал вдогонку что-то ещё, но человеку пора было спешить, а прочие тоже торопливо расходились, каждый по своим делам. Никто не был против нового соседа, но каждому хотелось быть вот также вот представленным, и чтобы одно лишь хорошее, вслух.

...Одним днём

Очень часто, рассуждая о необходимости жить одним днём, имеют в виду потребности тела, забыв о голоде души.

...Я впервые видел его таким. Обыкновенно он полулежал на скользких атласных простынях, и, не заботясь о впечатлении по себе, тут же ел и принимал просителей...

– Помилуй! Каких просителей! Это ж лягушонок!

– Ну и что? Зато, приглядишься, ты видел его когда-либо в такой позе? Я – нет.

В самом деле, вместо того, чтобы слиться с листом кувшинки в одно зелёное пятно, лягушонок сидел, как щенок, предьявив миру белоснежную сорочку, приличной ширины грудь и тонкие розовые губы. Он смотрел не прямо перед собой, а куда-то вдаль, и, скорее мечтал, чем служил по-собачьи.

Да и чем, собственно, он бы мог услужить? Ну... обращаясь на мой визг, ловил жёстких, совершенно невкусных ему ос, набивал пузо комарами, которые иначе не давали бы мне проходу, ну, – простил, забыл! – о раздавленной мною лапе и неустанно убеждал в этом, по-прежнему без страха усаживаясь подле ног. Терпел громкие ни о чём разговоры

и шевеление моих тёплых пальцев у себя между глаз. Он был беспредельно доверчив, и этим доверял мне себя и свою жизнь.

– Это ли не услуга?!

– Так и в чём она, я не понимаю.

– Позволить мне быть, чувствовать себя таким.

– Каким?! Ты, вообще, о чём?

– Тем, на кого можно положиться, который честен, искренен и ни за что не подведёт.

– Ты хотя бы помнишь, что это лягушка?

– А разве это что-то меняет?

При этих словах лягушонок принял привычную для себя позу и, по-обыкновению, прилёг, прижавшись подбородком к листу кувшинки. Он был доволен... сегодняшним днём.

Как сама?

Да... палец, попадая в небо, виснет вечность...

Шершень с размаху ударяется о воду, так, словно ставит на ней круглую печать. Одну, вторую, третью, – каждая следующая больше предыдущей. Я взвизгиваю и даю ему взлететь, а он, обрадован страхом, принимается за охоту в ответ.

С облысевшей ветки сосны ласточка спокойно взирает на возню, что происходит почти у её ног.

– Ласточка, а ласточка, ну, что же ты там сидишь, вот он, тут, летает!!!

Птица делает вид, что не слышит меня и принимается беззаботно рассуждать о чём-то. Слов не разобрать, но её речитатив столь изящен и мелодичен, что я успокаиваюсь понемногу, и шершень, лишённый маяка паники, что невольно источает жертва, улетает, размашисто расписавшись в воздухе невидимыми чернилами.

*Я помню до, после, а себя – с пяти. Так бывает?

Детство всесильно от того, что не знает ещё – чего именно надо бояться, – тёмного коридора, страшного жука, десертной ложки рыбьего жира, горячей воды в эмалированном тазу с разведённой в нём горчицей, а, может, капель в нос?! – Потери хоть капли той любви, с которой пришёл. Отвоёвы-

вая её у самого себя, вершишь главное дело жизни.

Безусловно, ребёнка легко сломать, но невозможно справиться с ним безусловно, ибо спокойна ещё его душа, убаюканная колыбелью всеобъемлющей и всепоглощающей любви. Ко всем.

В детстве кажется, что всегда будешь бояться мать, деда или отца, но ветер скрошит времени скалу этой мнимой неизбежности, и наступит другое всегда, – растянутое, имеющее свои пределы, для каждого свои.

В поисках очередного постоянства, мы тычемся, как слепые кутята, и очень часто промахиваемся, сокрушаемся от того, не осознавая, что неудача, подчас, куда значимее попадания в цель...

Часто говорят, с уважением в голосе и очевидной похвалой: «Он такой цельный человек.»

Но цельные пугают. Они, словно красивые невкусные яблоки. Лишённые раздвоенности, как выбора меж добром и злом, они целые, не исцарапанные сами, охотно, легко ранят других, всех. И тревожатся лишь о том, чтобы сохранить себя, своё совершенство, умение не запачкаться в чужих пороках. Путают терпение с попустительством, а такт с бесхребетностью. От страха кричат другие, и они же молчат, – из благородства ли, или по массе схожих этому чувству причин.

А что это, как не потворство, снисхождение греху, что бо-

лее преступно, чем он сам по себе, ибо возвращает разнообразность скудоумия, в той его непростительной плоскости, что безыскусно парит за гранью добра и зла. Истинная вина – не посыпание головы пеплом, но трепетное отношение ко всему. И... непременно надо, хотя бы иногда, приметно хвалить друг друга. Не воздевать к небу липкие от лести крылья, а находить хорошее и любить, ибо любовь умиротворяет, делает человека счастливым и спокойным...

- Жизнь усеяна маковыми зёрнами событий.
- Отчего ж не изюмом?
- Не знаю. Не люблю состарившийся виноград.

К чему все эти рассуждения? Наверное, пестуя разумом существование, помогаешь себе определиться с тем, что оно такое, кто она...

- Как сама, Жизнь?!

На Ивана Купала

14

Решая судьбу грядущего дня, хмурит чело предрассветное небо. Сколь всего подвигов и непотребства свершилось за ночь, таким скажется день.

Ветер ерошит сбитое на сторону оперение совы, что без воли лежит на земле. Венками по воде – лепестки крыльев ночных бабочек и загодя утомлённые крылья лепестков деревьев. Некрасиво свернув головку, – поторопившийся израсходовать свою жизнь птенец. Напрасно изломанные кусты орешника и нелепо вплетённые в большую желтоватую седину дикой ржи, почти белые, вишенки. Мокрые спущенные чулки травы новой, не на прежнем месте тропинки...

Предоставляя слово рассвету, обождав, сколь прилично, через положенный срок, птицы заговорили сами, воспевая будущее и о прошлом скорбя. В их ли власти напеть небу искомое? Да и расслышит ли оно? За спиной его – тёмное вселенское зарево, нет-нет, да и выкатится из поддувала уголёк небесного камня, как камень с души.

Все мы – деревья, и, раскачиваясь на ветрах времён, не ведаем, какой из порывов уронит нас. Но, – пока стоим, – каким окажется день – таким и хорош. Будет пусть.

¹⁴ Пантеизм – философское учение, ... иногда отождествляющее Бога и мир. παν (пан) – «всё, всякий» и θεός (теос) – «Бог, божество».

Гусли Страдивари

Мой пёс метил колесо белого мерседеса, мимо которого мы ходили целых два года прежде, чем я задумался, – а чего это он тут стоит и ржавеет без дела так долго. Я без машины, а он без шофёра.

Владелец отыскался довольно быстро. Приятный солидный, не от мира сего, человек охотно уступил ненужный ему автомобиль всего за двести долларов. Как говорится, сторговались, не торгуясь. Чтобы не утруждать дорожную инспекцию, впутывая её в наши взаимоотношения, мы решили, что я вполне могу пользоваться машиной по доверенности. По крайней мере, первое время, пока не скоплю на оформление всех документов. К тому же, предстояли траты на то, чтобы стереть с чела мерседеса следы невзгод, ровно как и ржавые потёки дождей с его бледных щёк.

Объединённые общим имуществом, мы с Семён Семёнычем, так звали владельца мерседеса, мило раскланивались при встрече, и обменивались парой фраз, как давние добрые знакомцы.

– Представьте, мне снова подарили мерседес, – сказал он в следующий раз.

Я не удивился, ибо уже знал, что купленный мной автомобиль тоже был подарен новому знакомому:

– И он вам не нужен? – поинтересовался я с лукавой улыбкой.

– Вы правы, не слишком! – охотно отреагировал Семён Семёныч. И, предваряя следующий вопрос, добавил, – но его я вам не продам, даритель обидится! Тем паче, за такую смешную сумму. Но, если серьёзно, – право, не знаю, что и делать. Видимо, поставлю под окнами, как прежнего, пусть его, ржавеет.

Мы помолчали недолго, и Семён Семёнович поинтересовался:

– Голубчик, так когда же вы зайдёте за доверенностью? Я на днях должен буду надолго уехать. Вы уж, будьте любезны, зайдите, не медлите. Мне будет неловко лишать вас возможности управлять покупкой.

– Ну, если это произойдёт, то сам буду виноват, – начал было я, но Семён Семёныч вежливым жестом остановил меня:

– Запомните, друг мой, в каждом событии всегда виновны обе стороны. Ну, так, вечером я вас жду, часам к восьми приходите, адрес вы знаете. Договорились?

Я легко и с некоторым даже удовольствием кивнул головой и мы, пожав друг другу руки, разошлись в разные стороны.

Ровно в двадцать – ноль-ноль я звонил в дверь Семён Се-

мёныча.

– Как вы пунктуальны! – похвалил меня он, впуская в квартиру. – Проходите, пожалуйста.

Я попытался скинуть в прихожей обувь, но Семён Семёнович остановил меня:

– Не трудитесь, входите, и, давайте, уже покончим с нашим делом.

Через минуту я сидел на краешке стула у стола, за которым Семён Семёнович оформлял бумаги на машину и, не решаясь осмотреться, невнимательно поглядывал в окно через голову хозяина.

Мне всегда казалось, что шарить даже взглядом по вещам в чужой квартире – верх неприличия, поэтому старался дышать как можно тише, чтобы ускорить дело и уйти. И, так бы оно всё и было, если бы не странный, знакомый запах, который отвлёк меня от привычного опасения стеснить собой кого-либо.

Один за другим я делал вдумчивые тихие вдохи, временами даже закрывал глаза, чтобы понять встревоживший меня аромат.

– Голубчик, вам нехорошо? – заметив моё смятение всполошился Семён Семёнович.

Я смутился, но решил, что запирательство покажется ещё более неприличным и моё поведение будет неверно истолко-

вано, поэтому сказал, как есть:

– Вы извините, Семён Семёнович, но, едва вошёл, меня смутил некий запах, какой-то неуловимо знакомый.

Семён Семёнович принялся и покачал головой:

– Простите меня. Быть может, я привык... а на что это похоже?

– Боюсь, вы сочтёте меня сумасшедшим...

– Полно, голубчик, не смущайтесь, говорите!

– Клён. Запах древесины клёна. Он стал преследовать меня сразу, как вошёл.

Семён Семёнович посмотрел на меня с восхитительной, открытой, почти детской улыбкой:

– Вы удивительный человек! Но... откуда вы знаете, как пахнет клён?!

– Видите ли, я делаю... нет, скорее – увлечён тем, что соприкасаюсь со старинным музыкальным инструментом. Гусли. Вы знаете, слышали про них?

Семён Семёнович, улыбаясь ещё шире, согласно кивнул головой, не отрывая, впрочем, от меня взгляда, давая понять тем самым, что ждёт продолжения.

– Гусли, их с древности делали из древесины белого клёна... – медленно начал я.

– И вы... – поторопил меня Семён Семёнович.

– И я их тоже делаю из клёна.

– Гусли?! Вы?! – хозяин квартиры хлопнул себя по коле-

ням и рассмеялся, столь раскатисто, что люстра над нашими головами, судя по всему, богемский хрусталь, нежно зазвенела.

– Голубчик, вот, положи руку на сердце, вы сразу мне понравились. Есть в вас нечто, эдакое. И, спешу успокоить, – чутьё вас не обмануло. Вы находитесь в одной комнате с одним из инструментов великого Антонио Страдивари, а обечайка¹⁵ и нижняя дека этой скрипки сделаны именно из клёна.

Я был по-меньшей мере ошарашен:

– Страдивари? Здесь? В пятиэтажке?! Как можно? А вы не боитесь...

– Что её украдут? – закончил за меня Семён Семёнович. – Это было бы весьма нежелательно и в крайней степени огорчительно, но поймите, во-первых, инструмент такого уровня застрахован. И, во-вторых, – меня пугает сама мысль о том, что я не буду иметь возможность взять его в руки в любое время дня и ночи. Я и она, – Семён Семёнович нежно, зримо чувственно провёл пальцем по бедру скрипки, – мы неразделимы.

– А не могли бы вы сыграть что-либо? – решился попро-

¹⁵ Обечайка – открытый цилиндрический или конический элемент конструкции (типа обода или барабана, кольца, короткой трубы), используемый в изготовлении сварных или деревянных сосудов, резонаторов музыкальных инструментов

сильно я. Простите за настойчивость, но очень хочется испытать, какова она.

– Испытать?! – с очевидным испугом переспросил Семён Семёнович.

– Услышать, вблизи. – немедленно поправился я.

Семён Семёнович согласно кивнул и с видимым удовольствием взял в руки скрипку. Привычно оценив настрой, мастерски, но наскоро, без особого воодушевления проиграл фрагмент произведения, которого я не узнал или не знал вообще.

По моему лицу Семён Семёнович распознал во мне боровшееся с приличием разочарование. С жаром и нервностью любящего родителя, он принялся извинять инструмент, ссылаясь на отсутствие нужной обстановки. Кстати засуетившись, тут же выписал контрамарку на предстоящий сольный концерт в Консерватории, где, как он пообещал, «откроется вся глубина звучания скрипки».

Мне было в такой мере неловко, что я почти бежал, чуть не забыв доверенность, за которой пришёл.

Конечно, концерт я пропустил. Отчасти ненамеренно, отчасти из-за того, что не смог простить удивительному инструменту случая сказаться обыкновенным.

Семён Семёнович явно был обижен на меня, и при встрече едва достаивал кивком головы. Ну, что ж поделать. Я мог растолковать ему, что гусли не побрезговали бы быть собой в любом положении. Но, стал бы он меня слушать? Наверное, нет.

Вишнёвое

Обыкновенно, звук падающей с неба воды умиротворяет, баюкает. Уютный шорох перелистывания плотных страниц зелени мокрым пальцем, погружает в тягучую патоку исто-мы, утоляя печали, умаляя невзгоды. А нынче...

Прорвалась наволочка ночи и внезапным потоком посыпалась из неё комьями вода, без удержу. Сразу стало как-то зябко. По мокрым следам на подоконнике можно было догадаться, что, спутавшись, заходил ненадолго октябрь. И, хоть скоро понял, что поторопился, успел загнать глубже в гнездо новорождённых ужат, встревожил лягушек. Ещё вчера, утомлённые зноем, те ленились сойти с места и, перегревшись, роняли себя вдруг в омут с головой, а теперь – жмутся к скупым, мутным от пыли полоскам света, что остывая, струятся едва через сито ветвей, манят бабочек теплоты пристесть на себя, оборачиваясь к ним то одним боком, то другим. А что до ужей, – ни одна мать не отпустит на улицу без шарфа, босиком, да ёлзать¹⁶ худым несатытым пузом по холодному, в такую-то пору. Лучше уж переждать дома, в тепле.

И так дождь хлестал землю по щекам до самого утра, тряс за плечи и требовал не спать, подначивая ветер, чтобы тот

¹⁶ ползать

сильно дул в уши и бил о раму дверью. Он же, распалившись, принимался ещё дёргать пребольно деревья за руки ветвей, и наступал на кусты так, чтобы они, прижатые к земле, не могли подняться и вздохнуть.

Казалось, за окном внезапная, жданная много позже осень и, стоит открыть глаза, акварель пейзажа окажется небрежно написанной крупными жёлтыми мазками, и лета – как не бывало никогда.

Но поутру... Оставив страхи взаперти дома, вдыхаешь воздух, густо настоянный на спелых вишнях. Он кружит голову так, что её невозможно держать холодной¹⁷. Хочется идти, куда глядят осовелые от томности глаза, или, напротив, – стоять и следить за тем, как жук-оленёк чинно трапезничает, припав к обломанной ветром вишнёвой ветке, отпивая понемногу, ибо он совершенно не торопится жить.

¹⁷ рассудительность

День был долгим...

Расслышав возню за окном, я выглянул. Трясогузки укладывали спать своего единственного птенца, а он, полон впечатлений о первом дне вне гнезда, вертел головой и комкал простыни виноградных листьев. Пару раз он вскакивал, показывая маме, как ловко умеет, и раскачав лозу подобно морской волне, чуть не упал, после чего был отправлен-таки в постель. День был долгим.

Похоже, его растили всем миром: и мама, и родня, и соседи. Папа, что поздно утром привёл малютку к пруду, облетел пяточок земли, строго втолковал, что «дальше этой черты ни в коем разе нельзя», и улетел. Дядья – соловей и дрозд, недолго присматривали за птенцом, да тоже упорхнули по своим делам.

Слёток трясогузки наивно вертел головой. Размер гнезда, так он расценил новое место, его устраивал вполне, – было где поиграть, походить, подремать, наследить и спрятаться. Над водой летало нечто съедобное, под ногами что-то бегало, росло и путалось. Малыш от волнения часто почёсывался, и каждый раз падал от недавнего умения делать это. Крючки коготков цеплялись за перья, а удерживаться на одной ноге,

как все птицы вокруг, он ещё не умел. Хвост птенца казался маленьким из-за толстого пухового жилета, который бабушка не разрешала ещё снимать по причине холодных ночей

Семена тоненькими ножками, едва заметными в пламени марева прибавившего огонь дня, он забирался на видимые лишь ему бугорки щёк земли, и сваливался с них боком от того, что кружилась голова. Эта неловкая манера спускаться оказалась кстати, а иначе – каждый раз пришлось бы звать взрослых.

Важно расхаживая, птенец клевал собственную тень, хватал палочки, тянул листья одуванчиков из земли. Тень оказалась проворнее его самого, палочкам наскучило лежать без дела, и они охотно изображали добычу, а вот листочки не поддавались ни в какую, и не желали сходить с насиженных мест.

Но, игра игрой, а малыша привели сюда не за этим. Он должен был научиться охоте, дабы прокормить себя. И уж после, много позже, своих детей, а там, глядишь, когда и родителям подкинул бы пару-тройку сочных подкопчённых шершей к обеду.

Расставив покрепче ножки, оперевшись, для большей устойчивости, на хвост и приоткрыв рот, птенец замер в ожидании. Кстати прилетевший на водопой шершень, поддразнивая, тут же стал петлять перед его лицом, и невредимым

упорхнул бы прочь, если бы не трясогузка, заглянувшая проведать сына. Она ловко почистила насекомое от облатки¹⁸ крыл, вложила в приоткрытый рот ребёнка, и снова нырнула в пену облака, наблюдать оттуда ей было сподручнее.

Довольный угощением, малыш блеснул глазёнками и принялся аккуратно вытирать клюв, начиная с уголков, как учила мама. Прервался он лишь затем, чтобы взбрызнуть шершня муравьиным соком для вкуса.

Птенец отчаянно¹⁹ не ленился. Отважно ходил почти у самой воды, старался следить за манёвром пролетающих мимо насекомых так, чтобы его перестало качивать. Разминая затёкшую шею, причёсывал пух на груди, и делал это так часто, что очень скоро, прямо по центру, там, откуда ему слышался знакомый ещё по жизни внутри яйца стук, образовалась вмятина. Будто кто ухватил неловко птичку, сдавил пальцами, да оставил на ней след. Птенец был столь усерден, что садился передохнуть, лишь только если сердце было уже готово выпрыгнуть через лунку отороченного золотым ободком клюва.

Ну, а когда сил на учение уж неоткуда было найти, и старательный малыш по привычке принимался пищать сверчком, мгновенно неоткуда появлялся папа. Убедившись, что всё в порядке, он тут же улетал, но это давало шанс птенцу

¹⁸ оболочка

¹⁹ очень

узнать, что не одинок.

Впрочем, время от времени один из родителей приносил что-то вкусное, побаловать ребёнка. Обрадованный проявлением прежней заботы, малыш каждый раз недолго гонялся за ними, пытался задержать, ухватившись за фалды хвоста, и с голодным недоумением тряс пустым раскрытым жёлтым кошельком клюва. Мама или отец с ожесточёнными озабоченными лицами бежали прочь, не оборачиваясь, а малыш, как бы не был расстроен, послушаться не решался, и неизменно останавливался у черты, которую ему было запрещено переступить.

Всякий раз перед тем, как улететь, родители непременно заглядывали в окошко и молча пристально смотрели мне в глаза. Жаль, я не сразу понял, отчего. Хотя... чтобы это изменило? Ровным счётом – ничего.

Итак, к полудню, как-то совершенно незаметно, птенец приобрёл стройность, словно где-то среди камней оставил свой пуховый жилет. Куда проворнее, чем несколько часов назад, шагал, и почти верно исполнял семейный танец, задорно отбивая такт новеньким блестящим хвостом. Он, правда, пока не поймал ни одной мухи, но уже был близок к тому.

Я глядел на него и радовался своей удаче, – оказаться слу-

чайным свидетелем того, как взрослеет птенец... Но на самом-то деле, мы зрели вместе: он – до птицы, а я...

– Посмотри во-он в то окошко. Видишь?

– Человека?

– Да.

– Он присмотрит за тобой.

Хорошо, если заметили в тебе человека, хотя бы кто-нибудь, хотя бы когда.

Последняя капля

Я лето пью по дням, по каплям.

По каплям ночной росы, что держится до рассвета, сияя бесстыдно и радостно алмазными гранями на зелёном бархате листвы.

По каплям дождя, что собираются в ручьи и реки, которых не счесть.

По каплям слёз, что текут щеками от радости быть здесь и видеть то, чему не найти иного имени, как Любовь.

Муравьям да бабочкам достаточно брызг, а человеку мало и рек. Ему подавай дали морские, которых страшится, к которым тянет его, а зачем- не знает сам.

Слушая биение сердца моря, собирает, как землянику в лукошко, ягоды звёзд на блюдце луны. Ветер играет ему знакомую песню на клавишах волн, а сбиваясь, заводит свою. И, – иди, помешай. Зазевавшейся мелкою рыбой на берег кидаясь, замолкает не вдруг, не затем, чтоб кому угодить. Просто так. Что-то ж было последнею каплей? Каплей лет, что проходят напрасно.

Я лето пью. По тем каплям, что тянет в авоське паути-

ны мизгирь²⁰, или, кажется, остались ещё немного в чашечке цветка, на самом доньшке. И жаль отпить их, ибо это всё, что у нас есть.

²⁰ паук,

Им, городским, того не понять...

Гудок будто бы огромной деревянной дудки пугает ко-силь, жующих кусты у железнодорожного полотна, и электричка, набирая скорость, едет, по-осеннему вспарывая прохладный воздух утра.

Сбитый с цветка у платформы, как с толку, шмель, в потоке пассажиров оказывается посреди толпы, но недолго ба-сит посреди вагона. Согнанный выдохами к стеклу, меняет тембр и дожидается нетерпеливо, пока его выпустят в окошко, тамбур заперт, туда уже нельзя. Довольные граждане напутствуют его взглядами и, рассаживаясь подальше друг от друга, прикрывают глаза тем остатком сна, который был от-мерен внатуг портняжным сантиметром ночи, а прерван резким звуком будильника или утеревшим нежность, хриплым со сна шёпотом на ухо: «Милый, вставай!»

В вагоне засыпают сразу, сладко и незатейливо выпуская слюни из уголков рта, и улыбаясь так мило, беззащитно, по-детски. Чтобы кроткий спросонья кондуктор не разбудил их раньше времени, вкладывают билет в шляпу или волосы, на манер охотничьего трофея, птичьего пера или за манжет, как королева Австрийская кружевную салфетку. Никто не хлопает себя испуганно по карманам, из расслабленно приоткрытых сумок выглядывают портмоне и короткие розовые листочки бумаги с круглой синей печатью, да вот-вот высы-

пется на пол мелочь с приклеившейся к ней дорогой помадой. И, – как милы они все поутру: и спящие пассажиры, и засыпающие на плечах у охранников кондукторы, и заспанный, не разбуженный почти машинист, который бредёт по вагонам в конец, разминая ладонь, приветствует полужнакомых, которым лестно прикоснуться прилюдно к его руке.

И вдруг... «Подайте, люди добрые!» Выбивая неравнодушные из дремлющего сознания, будто пыль палкой из коврика, с привычным выражением страдания на измятом глубоким сном лице, неказистый парнишка бубнит заученный текст, среди которого попадают такие слова, как «любовь... не пройдите мимо... Во имя...» Люди просыпаются по-одному, не разобравшись, испуганно глядят в окна, пытаются угадать станцию. Успокоив нервы, тшчатся утешить совесть, протягивая парнишке те самые монетки, липкие от пива или стаявших в жаре вагона конфет, или даже фантик купюры, а после... они уже не могут заснуть. На лица возвращается недовольное вчерашним днём выражение, они подбирают с прохода ноги, проверяют карманы, озабоченно хрустят замочками сумок, откладывают мелкие деньги на проезд и сидят уж после, нахохлившись, как озябшие воробьи.

А парнишка, сунув, не считая, подаяние в карман, усаживается тут же, на узком сидении в уголке, и спит безмятежно до самого города. Он сделал свою работу, разбудил в людях людей, а до следующей смены – ждать ещё целый день.

Выбираясь по проходу, пассажиры невольно теснятся подле спящего, разглядывают его, кто с жалостью, кто брезгливо, кто с усмешкой. Они привыкли смотреть на него так, ибо он – часть их судьбы. И, врываясь в город, погружаясь в реку его суматохи, примыкают они к толпе, но не сливаются с нею, а проживают свои жизни с тем напутствием, в котором главными словами оказываются по-прежнему: «любовь... не пройдите мимо... Во имя...»

Им, городским, того не понять.

Чудачка

Глазурь облаков так неаккуратно стекла по краям свежей выпечки небосвода, что заляпала всю землю вокруг. Пропитавшись соком дождей, почва при ходьбе приставала к подошвам ноздреватыми вкусными ломтями, и, входя в дом, её прежде приходилось соскребать о порог с брезгливым от жалости выражением.

– Да что ж такое опять!.. – слышалось вновь, и я прекрасно понимал, что сокрушается она не о коме земли, занесённом на ботинках в дом, а из-за того, что в этом клубочке может оказаться некая жизнь, которая, будучи оторванной от корней, родни, знакомых, окажется несчастной и обездоленной.

Чаще всего я был осторожен с этим, но иногда...

Не понимая, куда и зачем попал, по полу принимался бегать муравей. В нашем саду, где расквартировалась довольно большая их семейка, у него было много дел, да и мало ли что может произойти, пока он прохлаждается в доме...

Каждый муравей был ростом в половину дюйма, не меньше. Крепко сложенные, ладные и, если судить по высокому лбу и выражению глаз, явно не глупые, от чего много предполагали к себе. Обрезая вишни, я старался быть осторожным и обходил их, но, подчас, замечал, как один из муравьёв, ухватившись за узкую часть подошвы ботинка, тщить-

ся убрать меня с дороги. Казалось бы, – чего проще, как забраться на лодыжку, да укусить для вящей важности. Ан нет. Он пытался переставить мою ногу, давая пройти товарищам, которые терпеливо ожидали позади, чем кончится дело. Разумеется, я немедленно отступал с пути.

Если рассудить, то муравьям было довольно места, но часть их дорог соприкасалась с тропинками, по которым ходил я сам. Мы жили дружно, совершенно не стеснённые соседством друг с другом. Обирая с деревьев спелые ягоды, я непременно делился с муравьями. Им не нужно было много этого баловства, а так только, – полакомиться после целого дня пастьбы тли на кустах калины, который стал плодоносить исключительно их стараниями.

– Да как же мне его ухватить-то! – слышу я её озабоченный голос и вспоминаю о госте, которого привёл к нам, помимо его воли.

– М-да, – соглашаюсь я, – так руки-ноги поломать можно парнишке. А, давай-ка... Нет, не получится.

– Ну, что ж ты, в самом деле, – расстраивается она, – начинаешь говорить, а после молчишь!

– Я предлагаю... угостить гостя чаем!!! – торжественно заявляю я, но, обнаружив слёзы в её, наполненных возмущением глазах, выправляю невольную бестактность, тут же пояснив, – нальём сладкого чая в блюдце, он туда забежит, и вынесем его во двор.

Она благодарно смотрит на меня, но почти сразу мрачнеет, – И принесём сюда на обуви ещё одного?

После недолгого раздумья я пожимаю плечами и предлагаю выплеснуть муравья в окошко, вместе с чаем.

– А как разобьётся? – сомневается она.

– Не волнуйся, ничего с ним не сделается, он лёгкий. – С улыбкой качаю головой я.

Вечером, когда мы сидим у печки, не от того, что озябли, а так только, посмотреть, как тают в янтарном пламени дрова, я люблю её неправильным профилем, румяным от теплоты, морщинкой возле уха, хохолком неприбранных волос, тень от которого напоминает усики муравья и смеюсь невольно:

– Прогнали родню из дома, даже не предложили переночевать!

Сквозь отсвет огня, она вглядывается в моё лицо, пытаюсь разобрать, о чём шучу, а я мешаю ей, глажу нежно по волосам, приминая локон, и добавляю, – Чудачка ты у меня, ох, какая ж ты чудачка...

Чьего ума дело?

Закат лизнул тропинку через арку аллеи и присел за горизонт, чтобы без спешки разобрать, как оно – сладко или горько тутошнее житьё. По всему выходило, что со стороны²¹ не узнать. Но, впрочем, находясь даже в самом центре стороны²², когда события и раздумья подпирают тебя со всех боков, угадать наверняка, что есть что, – не так-то просто.

Сидит, к примеру, лягушка на бережку, сияет взглядом. Кабошон хрусталика с чешуйкой обращённого наверх солнечного блика, в драгоценной, старого золота, оправе мгновения²³. Догадаться об её намерении относительно чего бы то ни было, без рассуждения, хитро²⁴. А хотя и рассудишь... Даже если сама вспрыгнет вдруг под воду, на виду, увернувшись, от подножки нимфеи, и то будет не понять, – то ль испуг увёл её, то ли сочный мухарь²⁵ поманил за собою.

В двух шагах всего, сохнут листья кувшинки. Смятые пергаментом, промасленные водорослями чуть ли не насквозь, –

²¹ точка обзора

²² край, местность, место

²³ мигательная перепонка

²⁴ мудрёно, непросто

²⁵ муха

откуда знать, из-за чего они здесь, если даже сам, собственными руками оборвал их надысь²⁶? Ну, не родились же они только для того, чтобы сгинуть под присмотром звёзд?

Лето... Каково ему, набирая ветра, катиться под откос, наматывая на себя шерстяные нити одуванчиков и суровые хмеля, махру закатов и нежный шёлк рассветов, что вьётся прямо из кокона луны, – и всё это для чего-то... для чего?! Чьего ума дело?

– Расплетая косы, она бежала с пригорка облака...

– ...хорошо, что упала на мягкое, осталась цела...²⁷

²⁶ намедни

²⁷ C/2020 F3 (NEOWISE) – ретроградная комета с почти параболической орбитой, обнаруженная 27 марта 2020 года космическим инфракрасным телескопом NEOWISE. Свой перигелий комета прошла 3 июля 2020 года. В слудующий раз она окажется в пределах Солнечной системы через 6 800 лет.

Жизнь забавляется нами

Он никуда не торопился. Никого не смущал своей значительностью, не угождал никому и не стремился завоевать чьего-либо расположения, но лишь обустроивал судьбу. Именно так – не быт, а удел, участь, которую обыкновенно вручают в руки кому-либо, чтобы после обвинить в собственной неуспешности.

Согласный с дедом, который вырастил его, он считал, что «всему своё время», и потому, пока иные рвались наверх, жил обстоятельно, выверяя и обдумывая каждое движение, не торопясь сделать следующее. Он упорно укреплял внутреннее единение с тем слоем, который соперничал пробуждению его осознанности, там, где душа и тело впервые стали действовать сообща, единым старанием подтверждая свои намерения.

И вот, спустя время, он был, наконец, готов совершить шаг туда, где его никто не ждал. Расправив круглый, по прежней моде воротник, он тихонько приоткрыл обитую чёрным дерматином дверь, и вошёл в...

Новое пространство напугало обилием света и отсутствием пределов. Не было от чего отстраниться, упереться во что. Стало можно всё, но, примеряясь к намерению, оглядывать-

ся только на себя. Управляя собою, себя же и отвергать, а также искать самую цель и возможные к ней пути. Простор случайностей противоречиво сужал виды на будущее до лабиринта собственного я. Только лишь в нём одном нужно было находить причину и повод не стоять на месте. И хотя соблазн отступить обнаружился почти сразу, сделать этого было никак нельзя.

Размяв ладони, он расположил одну так, чтобы было удобно и, навалившись всем телом, стал подтягиваться. Не заметив сопротивления, выпростал вторую, и оперевшись об неё, поднялся немного выше прежнего. Казалось, – чтобы сделать хотя что-нибудь, нужно сосредоточить силы и смотреть только за собой: не сравнивать, не догонять, не завидовать, и помнить, что любая победа вершит гору неисчислимых, подчас противоречивых отрицаний. И, так, пробираясь вперёд, он и дошёл бы, куда возжелал, если бы через некоторое время, утомлённые чрезмерными усилиями ладони, ожидаемо и неожиданно, перестали слушаться его. Постепенно устали распрямляться пальцы, приходилось чаще прерываться, дабы отдышаться, а уж про то, чтобы оглядеться по сторонам, речи не было вовсе.

И он сдался. Не кому-то в плен, а себе самому. Не отказавшись от устремлений, но растеряв их на бегу к одному, верному на все времена, жалению себя, что поджидает на каждом углу любого, и, обхватив за плечи, увлекает за собой,

как трясина, что поглощает без следа и намёка на то, что было-таки сжалиться над кем.

– Нет, ну ты только посмотри! Вроде бы неплохо принялся лимончик, и так хорошо рос, а теперь, погляди-ка, листики сделались совсем мелкими и стали похожи на скрюченные пальчики, да и стебелёк как бы прожжён в нескольких местах.

– М-да, жаль. А я-то уж надеялся вскоре пить чай со своим лимоном! Ну, раз так, так ты возьми там, на полке, в подсохшей дольке есть ещё одно семечко, это только выдерни наперёд.

– Ладно... Но обидно-то как!

– Да что уж теперь. Не забудь только напомнить мне подкормить землю через недельку, и лучинку подставь, так легче ему будет, вроде как не один.

Вырванный с корнем, росток лимона скоро вял на подоконнике. Засыпая, он заметил, как неровными пятнами, в тон не появившимся на свет плодам, желтеют листочки. Корень, обёрнутый пелёнкой гриба²⁸ продержался немногим дольше, и тоже вскоре засох, но этого лимончик видеть уже не мог.

Быть может, ничего подобного и не произошло бы, не рас-

²⁸ Микорíза

считывай лимонное семечко на то, в чём было так уверено, – на одного лишь себя. Или, если бы его росток истратил хотя часть своего пыла для того, чтобы осмотреться, попытаться отыскать опору вовне. Излишняя, непривычная и не к месту, поспешность также могла сыграть с ним злую шутку. Кто знает, в чём истинная его вина.

Жизнь забавляется нами, как пожелает, а мы – ровно так, как это дозволено ею, и намного меньше, чем сами того хотим.

Зачем они с нами... так?

Шмели сыпались и сыпались с неба, будто дети мохнатого цветка, что растёт где-то там, на облаке. Лёгкие, сухие... некоторые оставались ещё живыми недолго, но большая часть уже нет. Многие пытались растормошить шмелей, но было очевидно, что единственным способом вернуть их к жизни – повернуть ворот времени вспять, но как это сделать, никто не знал.

Обронённые в воду, шмели не тонули, но красиво ходили по воде под руку с ветром. Да только когда ему сделалось скучно, сразу стало грустно и ясно, что к чему.

Стройный, цвета раннего салата кузнечик, не выдержал долго и без раздумий бросился в воду, спасти шмелей. А, когда понял, что помощь опоздала давно, едва не утоп сам. Высоко подняв голову, он храбро отталкивался от воды, но то ли отчаяние было слишком сильно, то ли ноги чересчур стройны. На подмогу ему отправился бронзовик, но также – не рассчитав сил, почти сразу стал тонуть. Единственное, к чему он смог прибиться, – к холодному боку лягушки, которая терпеливо ждала, пока и кузнечик, и жук взберутся ей на спину, чтобы, хотя оттуда, первый смог перепрыгнуть на берег, а второй взлететь.

Казалось, лягушка равнодушна, наблюдая за сторонними стараниями, но мало кто знал, как она горюет. Шмели не бы-

ли посторонними для неё. Сколь раз отвлекали они внимание ужей на себя, пока она пробиралась к воде. Да и, – не забываются так просто радости общих рассветов, добрые утра и тёплые дни, прожитые бок о бок...

Подзабытое давно шуршание мышей нарушило скорбные раздумья. Подбирая павших, они заносили их в гущу листвы, где, пробегая по просторным ступеням ветвей, складывали съёжившиеся комочки в сплетённую зябликами корзинку для птенцов. Мыши давно присмотрели гнездо. Ещё весной. Но терпеливо ждали, пока оно опустеет.

Шмели сыпались и сыпались с неба, словно лепестки.

Зачем они с нами... так?

Не умеем...

Всё небо, с ног до головы заляпано пятнами морской пены. Серые, в мурашках, щёки бутонов чертополоха мёрзнут, ёжятся морскими ежами. Плавниками скорпены²⁹, у которой, как водится, каждый третий шип ядовит, топорщатся сосны. Словно мыльные пузырьки фукуса³⁰, тают на солнце незрелые вишни. Спелые одуванчики сеют россыпь медуз, – откровенных, прозрачных, у которых всё по-честному, на чистоту, на виду.

Мелкие шишки туй, копии морских желудей – не подделка, а старание изобразить похожее. Не из лести вовсе или корысти, но, чтобы найти общий язык, жест понятный, знакомый с колыбели вкусный аромат соли, горчицы, душистого перца, истёртой шагами полыни, что горюет и пылиться у дорог.

Кузнечик, на манер морских коньков, тянет подбородок книзу, и, расслабив корсет, даёт себе глубоко вздохнуть. Разноцветные жуки, божи коровки и бронзовки, разрисованными крабами копошатся по насыпи железных дорог, как на отмели, в отлив.

Пауки по-осьминожки тянут затёкшие бесконечные ноги.

²⁹ морской ёрш

³⁰ водоросль, пузырьки на её стеблях мылятся и тают

Недосчитываясь пары, стесняются и прячутся под марлю паутины. Страшают кого-то, жонглируя точками зрения, как мнением, да пугаются собственной смелости и замирают на месте, будто офиуры³¹ у дна.

В пруду пучит очи карасей от изумления да схожести с бегущими³² пресной воды собратьями. А притаившаяся лягушка хватает вдруг из-под воды осу, взметнувшись по пояс каланом, что черпает пересоленный бульон прибоя, вместе с лапшой тонких серебряных нитей мелкой рыбёшки.

С позднего вечера, на заскорузлом от проступившей соли подоле лета, украшенном стеклярусом планктона, отражением волны света уже холодных звёзд, мерцают светляки. То ли дразнят, то ли им в ответ.

Слезливый бриз ночи обдувает переболевший оспой голыш луны. И только так, на него глядя, становится ясно, – все мы на одном берегу, но, роняя в воду камни, слёзы, взгляды, не скорбим об этой потере. Ибо не умеем по-настоящему ничего – не любить, ни жалеть.

³¹ морские звёзды

³² избегать

Этого не знает никто

На вид он был скромен и до чрезвычайности мил. И, хотя не было в том нужды, посторонился, освобождая место подле себя, едва я ступил на початок тропинки, усеянный, словно зёрнами кукурузы, немного стёртыми, но крепкими ещё зубами камней.

Кивнув друг другу, мы принялись наблюдать за тем, как вечер, собираясь уходить, закатал повыше рукава несвежей сорочки с расплзающимися рюшами мелких туч, и подбирает разбросанные днём краски, сматывает тени в моток, скручивает тканые дорожки тропинок, да набивные ковры дорог. Рассовывая по лабазам ягоды, чтобы не пропали от росы, грибы трогать не стал, лишь прикрыл их новой чистой тряпицей жухлой листвы.

Вкручивая лампочки в фонарные столбы, задувал одну за другой гнилушки пней по берегам прудов и рек, а протирая слабые светильники звёзд, – лишняя, в общем, работа, – делал это только лишь по привычке или для красоты. Какой от них свет? Так только, блеск один.

Отерев чистым полотенцем облака лица луны, тут же, походя постучал по стволам деревьев, турнув из дупел сов, пошуршал по чердакам, и, взболтав чашу неба, согнал оттуда чайники летучих мышей покучнее.

Последними, вручив лопаты, он расшевелил кабанов, те

который уж день обещали перекопать поляну под огород к рассвету.

Вечер так торопился, что на его щеках проступил тот неяркий горячечный свет, который выдаёт волнение заботы обо всех. Под конец, уронив на бок бочонок дубового пня, он присел на него перед дорожкой, и... Как он вышел, не заметил никто.

Лес, что тоже присматривал за вечером, выглядывая из-за наших спин, выдохнул тихонько:

– И так каждый раз. Когда он уходит? Не могу разглядеть, хоть как!.. – Лес ещё раз вздохнул, и мы расслышали слабый запах корицы, который обыкновенно приносит с собою сентябрь.

Я вдруг понял, что озяб и, приподняв шляпу, попрощался:

– Пойду, пожалуй, пора...

Жук-олёнёк привстал вежливо, как перед старшим, и отерев усы, поклонился в ответ.

Лысеющий одуванчик, что стоял неподалёку, скривился:

– Ох уж эти мне... учтивцы... – Но процедил-таки сквозь зубы, – не кашляй, бывай.

Приподняв шляпу и в его сторону, я направился к дому.

Идти было приятно, чувствовалось, что те, которые с

улыбкой смотрят вослед, не сразу займутся своими делами, но обождут, пока за мною закроется дверь. Кстати, вечер тоже не оставил меня без заботы. Светлячки, которых он расставил вдоль тропинки, не давали сбиться с пути.

Вечер... Откуда он приходит и уходит куда? Этого не знает никто.

Это ли не вопрос...

Поплевав на ладони, он пригладил голову от того места, где у других обычно располагается пробор до висков и, пригнув голову, сделал выпад.

Вообще-то говоря, драться он не любил, но заметное отсутствие колебаний при выборе между бесчестьем и дуэлью – признак порядочности, а уж в чём-чём, обвинить его в недостатке данного качества было совершенно невозможно.

Всё началось пару месяцев назад, когда ужи повадились греть свои тонкие высокие талии на берегу пруда. Сперва они были более, чем скромны. Проявляясь с первыми тенями веток вишни промеж камней, в точности повторяли их изгибы и очертания. Но постепенно, смелея и сметая преграды чужих границ, ужи обживались. То, якобы ненамеренно, выставляли хвост либо упитанный бок, или даже, разглядывая нечто невидимое вдалеке, тянули шеи вверх, похваляясь янтарным ожерельем, фамильной драгоценностью, что переходит у них из поколения в поколение. Дальше-больше, и уже спустя неделю, под присмотром взрослых, в воде барахтались ужиные дети в оранжевых спасательных воротниках. И, ладно бы так, – место, пусть некупленное, а родное, да уж, солидный вроде на вид, недвусмысленно стал поглядывать на супругу старожилы, лягушку. Дама была хотя и мо-

лода, но нелегкомысленна, что давало повод рассуждать об её добродетелях, ибо оснований сплетничать о другом не находилось. Она держалась более, чем скромно, подчас даже ущемляя себя в угоду окружающим.

Посему, когда было замечено неблаговидное поведение ужа, в обществе начали поговаривать о дуэли, которой не избежать. И вскоре, невзирая на уговоры и слёзы супруги, лягушонок счёл необходимым поставить соперника на достойное его пониманию место, если уж иные способы и собственный пример доброго соседства оказался вольно или невольно непонятым им.

Итак, поплевав на ладони, лягушонок пригладил голову от того места, где у других пробор до висков и, пригнув голову, сделал выпад. Уж не ожидал нападения, так как не мог воспринимать лягушек иначе, как годный в пищу объект, который, исключительно по случайности, недоразумению или от чрезмерной сытости, не может быть съеден до поры. Но теперь же... Что же такое эта обида? Дуэль?! С чего бы? И из-за кого?! «Из-за светло-зелёной особы, с нездоровой *glandula thyreoidea*³³, размером в половину кофейной чашки, не больше. Да неженки, к тому же, – чуть комар, так трепещет, гонит от себя, отмахивается двумя руками. Из-за чего, вообще, спор?!» – промелькнуло в голове ужа, но, глянув не

³³ щитовидная железа, выпуклые кнаружи глаза выказывают базедову болезнь

поверх лягушонка, как обыкновенно, но прямо в его глаза, где увидел своё высокомерие, отражённое в их решимости, и сник, засомневался, – лягушонок был серьёзен. Повторив выпад, он отвесил ужу пощёчину, после чего изъявил готовность погибнуть, так как перевес сил был явно не на его стороне. Справный, весьма упитанный, не менее маховой сажени³⁴ росту уж осознал, что не прав, отвечать не смел, не счёл возможным, и отступил.

Лягушонок обмяк, ибо был храбр, но вовсе не безумен. Его милая, совершенно зелёная супруга, которую доселе удерживали от того, чтобы дать вмешаться, пустили к нему, и... Нам ли дело до тайн их жизни, неужто мало своих?

А, всего неделю спустя, лягушонок учил мелкого, ужонка, охоте на шершня. Жестами показывал, что следует не шевелиться, даже дышать через раз, дабы не спугнуть добычу. Та как раз прилетала к пруду, и, одёрнув застиранную до желтизны тельняшку, державшую сытое пузо, установилась одной ногой на берег, а другой на лист кувшинки. Было потешно наблюдать за тем, как, шершень, отогнав невидимые соринки, словно бы он рысь, взбивает лапой до пены воду, и принимается лакать, вздрагивая головой по-собачьи.

Холодный камень, и тот туманится от выдоха. А вдохновлённое любовью живое, не делается ли оно ещё более живым?

³⁴ 1,72 м – маховая сажень, 1,70 м – длина взрослого ужа

– Это ли не вопрос...

– Так это и не он.

Propinquus

35

– Ух ты... какой! – восхитился было я, и тут же шершень бросился наперерез, так больно задев по плечу, что меня даже развернуло слегка, словно флюгер от нечаянного порыва ветра. А я всего-то и хотел, что посмотреть на новорождённого ужа, который только-только вылупился из яйца, но уже ловко дразнился языком, гадая, чем пахнет жизнь, мелко грёб на глубоком месте, подражая ряби на воде и прятался, зарываясь в прибрежный песок, оставив на виду один лишь завиток хвоста.

В этом был весь он: спелое надтреснутое беззубой улыбкой семечко головы с оранжевым ободком вершило тело в виде хвоста. Впрочем, вполне вероятно, что главным был хвост, пока было не разобрать, но умениям этого малыша стало можно завидовать уже теперь.

Только вот шершню... ему-то что за дело, чем я занят. На натянутой верёвке наших взаимоотношений можно было развешивать простыни. И в тех случаях, когда, в силу обстоятельств, мы сближались, то метались оба. Говорят, что особенно трудно уживаются схожие натуры. Неужто и вправду мы чем-то похожи, но в чём именно?

³⁵ propinquus (лат) – подобный

Покосившись на примостившегося у воды визави, я принялся сравнивать.

Ходили слухи, что шершень кровожаден, но, если по чести, то он такой же сладёна, как и я, а вот кто совершенно не в состоянии обойтись без жаркого, так это его детишки. А какой ребёнок не любит ухватить котлетку со сковороды? Так что тут, как бы ничья.

Агрессивен, говорите? Да нет, скорее шумноват. Как и я, любит явиться потеатральнее, да пройтись эдак, с коленцем, чтобы всё внимание на него и: «Бу-бу-бу!» Ну, так, чем я лучше? Сам такой, – и про внимание, и про «Бу-бу-бу»...

Что до сладкого, – шершень не так жеманится, как спешит, оглядывается по сторонам, стесняется, что он, в такой-то корпуленции³⁶ и усы измазаны печёным на солнце яблочным вареньем... срамота, ей-Богу.

Опять же – и одеваемся мы оба кое-как, и добряки, каких поискать... а что в гости никого не зовём, так это ж, характер у нас с шершнем такой.

Сощурившись, я разглядел, как, подманив ужонка, шершень гладит его по голове. Заметив, что разоблачён, он полетел прямо на меня, гневно шевеля бровями, но, совершив вираж у самого уха, тихо шепнул: «Прости, я не хотел...» и улетел пить кленовый сироп из бутылки, что ветер откупо-

³⁶ тучность

рил накануне, обломив ветку .

...Мы страшимся нарочито грозного вида лишённых лукавства и бредём покорно в сети велеречивых сладкоголосых лжецов. Отчего мы так легковёрны и не умеем отличить добро ото зла? Узнавая подобных себе, сторонимся их, бежим, дабы не распознали в нас тех, которых обидеть куда как легче, чем защитить.

Отчий тон

Мутнеет калька воды, исколотая отражением звёзд. Уж, притворяясь жухлым, сменившим облик, вишнёвым листом, парит у камня, замороженный отблеском тлеющего фитиля Венеры. Лягушки благоразумно переходят на другое место, подальше от него, – мало ли, что взбрѣдет в голову соседа. Судя по смурному сумеречному виду, нынче он не в духе.

У рыб, у тех всё иначе, – уже румяные со всех сторон, и даже чуть подгорелые со спины, они нежатся, вкусно брызжутся соком, шкворчат, шевеля луковицами лилий на сковороде лета. Ловят перчинки мошек и солѣные кристаллы мелких бабочек, что просыпаются из прорех кармана пред-рассветного сквозняка.

Зримый топот и шуршание друг об друга стеблей крапивы обнаруживает присутствие ежонка. Застигнутый врасплох, он дрожит и, не сходя с места, принимается бежать, моргая семафором глаз, пышет паром из предосторожности, и чудится даже, что тронется вот-вот, как паровоз по отполированным росой рельсам тропинки. Чуть погодя, серая тень скользнула сквозь кусты малины, и кряхтя в такт шагам, стала забираться вверх по склону. То – мама, на выручку. Ей, грузной, нелегко, ибо – одышка и годы уж не те, но другого пути просто нет. Как бросить ребёнка?!

Ближе полудню – куда ни глянь, каждый муравейник в округе выкипает и пенится, и кажется со стороны, что все разом сговорились печь пироги, а так, провариваясь в тягучем сахарном сиропе, готовится маковая начинка. Наблюдая за этим, мечтается о коричневой холостой заварке в едва ли не прозрачной, тонкой чашке костяного фарфора, с парой кусков тающего на дне рафинада, чьё сладкое марево вьётся к небу горячим терпким духом. И, мнится само собой, как под вечно недовольный тон матери из широко надкушенной сдобы, высыпается сладкое сочиво на вовремя подставленное блюдо.

Но... закат уж прикрутил фитиль горелок под разрисованными сажей котелками, и наваждение, стёртое сумерками, рассеивается без следа. Ни мака, ни пирогов. Лишь, переключаясь со вздохами совы, слышны интонации отчей речи, которые не теряют оттенков. Но ... даже усвоенный с годами их смысл не важен уже. Важно слышать этот натруженный любовью тон, не разбирая значения. Просто так, ни о чём.

Заслужить прощение

Было уже темно. Он шёл, привычно ступая по знакомой дорожке к лесу, как я заметил его и, пугая косуюль обращённым не к ним криком, принялся умолять:

– Подождите! Подождите, пожалуйста! Не так быстро, позвольте мне извиниться!

Тревожа эмпатию³⁷ ночных бабочек, которые тут же принялись будить мой рассудок, похлопывая по щекам, я не успокоился, пока, расслышав мой голос, он-таки не остановился. Свет фонаря оказался намного проворнее меня, и неизбежно слепил глаза, чем усугублял нелестное обо мне мнение, и от того-то я ещё более заторопился, если не заслужить, то хотя бы донести до его слуха глубину моего раскаяния:

– Простите! Простите... – кричал я, сетуя на собственную неловкость и задыхаясь на бегу.

Когда я приблизился, он не обернулся на мой зов, но и не отвернулся, просто оставался неподвижен. Покуда я умирал воспламенившееся на скором ходу дыхание, он рассматривал какую-то травинку у себя под ногами. Из недовольства, или из нежелания выказать, что поддался на мои уговоры

³⁷ способность сопереживать

обождать, было не понять, но, как бы там ни было, мы стояли рядом. Помолчав менее, чем это было необходимо, я заговорил:

– Спасибо большое! Простите меня за вчерашнее, я был невежлив, навязчив очень. Простите, прошу вас! Пожалуйста! – зачастил я, угадав в нём, невыказанное, впрочем, ничем намерение уйти.

Однако извинения явно растрогали его. Окинув меня беглым снизу вверх взглядом, он улыбнулся, но, вероятно, ожидая от меня чего-то ещё, промолчал.

– Вы... вы не рассердитесь? Позвольте сфотографироваться с вами? Можно?! – С жаром прочувствованной надежды воскликнул я, сам не понимая, как решился выговорить эту, едва не рассорившую нас в конец, вчерашнюю просьбу.

Он глянул сочувственно, и распознав вдруг обрушившееся на меня смятение, широко улыбнулся. Затем, сдерживая ноздрями смех, но по-прежнему не вымолвив ни единого слова, он чуть склонил голову, соглашаясь на предложение и замер в ожидании съёмки.

Я засуетился, захлопотал и лицом, и телом, принялся говорить нечто несуразное, но в крайней степени доброжелательное... А он стоял, стоял и едва не хохотал, – и над вче-

рашним своим испугом, и надо мной, нынешним, безвольным от его снисхождения.

– Ну, и кто это был?

– Ёж...

Водевиль

38

Было ощущение, что природа приглядывает за нами, и, отыскивая какой-то непорядок, включает воду с требованием немедленно и со всевозможным тщанием отмыться. А, спустя немного времени, убедившись в нашей к тому неспособности, принимается тереть спины мочалом веток, от чего вокруг всё делается краснО³⁹ и ярко так, что даже хочется петь. Но увы, не поёшь, а так только, приплясываешь тихонько, чтобы не попасться никому на глаза, кроме как ... А, – да всё равно! Пусть смотрят!

И вот, именно в такой же беспокойный банный день, примеривая на себя роль стебля, уж устроился между пухлых лоснящихся щёк листа кувшинки. Пока солнце небыстро проводило по его телу тёплой рукой, змей разнежился и задремал. Что ему снилось, да и вообще – умеют ли ужи видеть сны, нам неизвестно, но по всё время отдыха он был безмятежен, мил и тих. Ни от кого не бегал, не гнался ни за кем, и вообще, по всему видать, спал глубоко, ибо игрек⁴⁰

³⁸ Короткое драматическое произведение легкого жанра с занимательной интригой

³⁹ красиво

⁴⁰ У

его языка, пользуясь случаем побыть с собой наедине, сумел пробраться между губ и прилёг рядом.

Собственно говоря, он впервые оказался один. Нет, ну ясное дело, что не совсем, так как у него на хвосте спал уж, но, – как бы, почти. Язык осторожно, чтобы не разбудить змея, подобрался к отполированной поверхностным натяжением капле дождя, и, дивясь столь очевидному доказательству пользы сего равновесного между собой состояния двух сфер, окунулся в воду, но... не ощутил ровным счётом ничего. Язык заволновался и, перебравшись к краю листа, благо он был совсем рядом, свесил одну ножку, а, поболтав ею в воде, ничего не разобрал, переменял её на другую, и опять не ощутил никакой разницы.

Как не прискорбно было осознавать, язык оказался не в состоянии понять вкуса, либо запаха.

Из осторожности, на всякий случай, или же, если нечто попадало в поле зрения ужа, змей первым на разведку выпускал именно его! Но если теперь окажется, что он и вправду лишён чувства... что будет с ним, с ними?! Он не сможет распознать ни друга, не врага...

Язык был раздавлен ощущением собственного ничтожества. Но тут, как и полагается в приличном водевиле, разумеется вовремя, уж пробудился, и неприлично широко зевнув, втянул язык на полагающееся ему место. В тот же миг его окатило волной ароматов и воспоминаний, которую принесли от себя вода с небес и та, что питала реку родника.

– Бр-р! – Встряхнул головой уж, дабы прийти в себя от обилия чувств-с. – Хорошо ж я выпался. Жизнь заиграла так искусно! Палитра ощущений такова, что мне по силам рисовать, не меньше...

...А вскоре, уж полз по листьям к берегу, вооружившись переменной⁴¹, привычной меркой мерил всё, а рыбы ото дна его дразнили. Язык, признаться, недоумевал, но счёл за лучшее помалкивать поболее, хотя сомнение закралось в том, что он лишь инструмент. Вот, доля...

⁴¹ игрек, Y

Предтеча любви

Вишни, виноград, яблоки, калина, арбузы, – все с косточками, со смыслом, заключённым в их сердцевине. С надеждами на новую жизнь, на счастье, которое будет не только в них самих, в невиданном продолжении, но и вблизи, под сенью, в тени, подле. И хотя тоже бывает, что не уживаются вместе, но как-то пробуют, стараются. Кто-то пускает корни глубже, кто-то дальше, иной держится повыше, но не от поверхностного отношения к судьбе. Слабее он? Уступчивее, уязвимее, понятнее от того.

А с видимой всем частью – всё так же. Отнимая кроной от неба, сколь удаётся, загораживают его собой, теснят других. Дорвавшись, глядят недолго свысока, а после грустят в одиночестве, худеют, сохнут. Но, не в силах выносить сего дольше, теряют силы, роняют себя к ногам тех, в ком доселе видели лишь менее удачливых, противных ему. И, выпуская от корней новые ростки, радуются тому, что сдюжили, пережили, переосмыслили... так вовремя!

Также, как доверие – предтеча любви, так и наше сокровенное – предвестник великих свершений, но каких – не узнать, пока не испробуешь многое по чуть-чуть.

Так где она, наша косточка, в которой зерно правды и жизни соль? Или мы только и умеем, что на чужих костях?

Маленькое происшествие

Он явно думал, что уже всё, спасения нет, коли не помогли ни отчаянное, на публику, ни барахтанье, не басом свист, не крики, ни даже воздушные шарики в карманах жилета. Одежда намокла и не давала двигаться. Некстати здорово отстирался жёлтый воротник, на нём не осталось ни единого пятнышка.

Я случайно заметил его, безвольно кружащимся на воде. Ветер куражился, гоняя остывшее тело в разные стороны, как лодку без паруса и вёсел. Нашёл игрушку...

Выудив шмеля, я и сам сперва подумал, что он не жилец, но, движимый сочувствием и любовью ко всему, что появилось однажды на свет, загородил его от ветреного повесы ладонями, и стал согревать, выдыхая так часто, как сумел.

У меня уже кружилась голова и стало казаться, что всё это не имеет смысла, до такой степени он был неживым на вид, но понадобилось меньше пяти минут, чтобы шмель пришёл в себя. Я думал, мне почудилось, когда его окоченевшая, похожая на куриную левая лапка стала розоветь и принялась вздрагивать в такт сердцу, отыскавшему, наконец, причину биться. Вторая последовала примеру чуть позже, но ей было заметно тяжелее, ибо судорога, что изуродовала напоследок фигуру, не давала току крови ходу.

– Маленький, ну, давай, дыши! – попросил я жарко, и шмель, с заметным усилием избавившись от корчи⁴², старательно задышал.

Я хотел было оставить его одного, чтобы солнце завершило начатое мной, но к шмелю потянулись с поздравлениями родные и друзья, а после, почуяв лёгкую наживу, и враги. Посему, пришлось задержаться у постели выздоравливающего и, отмахиваясь от визитёров ненужной дереву веткой, просить их прийти на следующий день.

Маленькое происшествие, случай, который нельзя носить, как орден, на груди, но не сделай того, что мог, станешь пенять себе по всю оставшуюся жизнь.

⁴² судорога

Коробочка

...такое чувство, что мы живем
в коробочке с закрытой крышкой,
которая протекает...

И. Шаталова, микробиолог
Воронеж-Нефтекамск

За окном дождь, и стёкла сделались так чисты, что кажется, протяни руку – дотронешься до мокрого листа тополя, что давно перерос крышу школы.

– Думай... думай! Ты когда-нибудь будешь думать своей коГобочкой?!– учитель кричит, картавя беззастенчиво и раскатисто. Вбивая ученику эту мысль, она больно долбит указательным пальцем по его непричёсанной голове, словно дятел, и неприятно смеётся при этом.

Можно ли через силу научить чему-то? Вряд ли. Умения подразумевают ту самую пресловутую любовь к делу, которой не заслужить одним лишь подражанием.

Когда я вижу человека, про которого говорят, что у него золотые руки, я понимаю, что он не просто ловко держит молоток в руках, но умеет любить.

Он искренне любит всё, к чему прикасается, неживого,

неодушевлённого для него просто не существует. Двигатель внутреннего сгорания, и тот доверчиво шепчет ему – что и где болит. Болты, которые, так кажется со стороны, вкручиваются сами собой, не срывая резьбу и сидят на месте послушно столько, сколько это необходимо. А те, влюблённые в мастера инструменты, что как видно, сами пристают к рукам и подсказывают ему – куда сместить напильник, где поджать пассатижами, как усилить хомут, насколько ослабить давление. Когда такой человек работает, можно просто стоять и глядеть, нежась осоловело в волнах той бесконечной радости, которой полон он сам.

Захочется ли суметь так же? Ну, а, если и нет, то искреннее восхищение любимым трудом войдёт в привычку, что тоже, ох, как немало.

Его руки всегда красивы и странным образом чисты, даже пятна смазки не портят их. И, пусть он сам невысок, но чудесно красив и опасен для дам бездонным своим, сострадательным ко всему взглядом.

– Думай... думай своей ко... – Продолжает кричать учитель, и роняет с карающей длани браслет неженских часов. Парнишка подхватывает их на лету и предлагает:

– Давайте, я починю!

Но учитель рвёт часы из рук, кидает в гнев на пол, топчет яростно и безотчётно...

А не из зависти ли было всё это? Глядя на то, как с лас-

ковой недетской мудростью прощает «какой-то оболтус» сей стук по бедовой голове, вкупе с теми, которые ещё предстоит пережить.

– Думай... думай своей коГобочкой!

У каждого свои конфеты

Подростший птенец зарянки⁴³ играет в утку, виданную на-медни на болоте, и пробует ходить по воде. Приподнимая неряшливые оборки крыльев, все в пуху! – раскачивается немного, и с бравым писком бежит от одного берега к другому. Его мама хлопчет лицом подле, нервно шарит натруженными крылами у себя по бокам, щекочет нёбо ропотом, сдерживаемым с трудом, и перестаёт трепетать, лишь только ребёнку надоедает придуманная в этот час роль.

Следующим, кого малыш пытается победить, оказывается одуванчик, и мама даёт себе роздых. Чуть завалясь на к месту поставленный пень, часто дышит через приоткрытый клюв:

– Это неопасно, пусть шалит. – Шепчет она себе.

Но тут из воды, порядком намокнув, выходит бабочка, из-за которой, собственно, дитя малиновки придумало играть в утку. Не подозревая ничего, она разложила просушить крылья близко по сторонам от себя, разлеглась прямо на виду у птиц, и безмятежно задремала.

Изумлённый птенец подошёл ближе к купальщице и, склонив на бок головку, принялся любоваться. Бабочка в коричневом платице и белом кружавчатом фартучке, казалась

⁴³ птица, также носит название малиновки

школьницей, что сбежала с уроков купаться на пруд. Она была так хрупка и невинна, что тронуть её можно было лишь взглядом, столь же бережным и нежным.

Птенец вздыхал, а малиновка с жалостью и любовью глядела на своё детище и думала о том, что не сможет истребить в нём любовь к прекрасному, даже не станет пытаться делать того. И потому, пока носят крылья, ей придётся носить жуков своему ребёнку. У него явно не хватит духу изловить ни одного из них.

И в тот же миг, когда огорчённая, но отчасти успокоенная своею решительностью мать придумывала ужин, мимо птенца пролетала муха, и он с недетской сноровкой изловил её, ловко ухватив за крыло:

– Мама, гляди какая!

Малиновка внимательно посмотрела на сына и покачала головой:

– Не понимаю...

– Да ты посмотри только, какая она некрасивая, значит её можно съесть! Бери, я её для тебя поймал! – Сказал малыш и положил к ногам мамы.

В самом -то деле муха была очень даже ничего: роскошная прозрачная накидка крыльев, большие карие глаза, но мама сочла за лучшее промолчать.

– У каждого свои конфеты.

– Где-то это я уже слышал.

А если нет?

Закат полоснул небо с юга на север, оставил следы от когтей, две кровоточащие царапины, синяк облака и комету, что катится слезой.

Стриженная овчина облаков заботливо укрыла небо от края до бескрайности, куда взором не достать. Оно и верно – вечера стали прохладные, как бы ни простудилось.

Леса абрис⁴⁴, ажурный обшлаг чёрных рукавов сумерек, не подвёрнут вольно и высоко, но застёгнут для теплоты на перламутровую пуговицу луны.

Я сижу на табурете дубового пня и встречаю ночь. Она накаливает небосвод серебряной иглой, споро покрывая его вышивкой созвездий. Ищу знакомых, а у ног, как щенки, копошатся ежиха и рыжий кот. Они постоянно отвлекают меня от вечности. Находят радость в пустяках, которых так много вокруг, как тех звёзд. Только они далеко, а это – близко всё. Сделайся скромным, опусти глазки и разглядишь.

Рядом совсем, лишь протяни ладонь, жаждет тёплого дыхания мокрый шмель, а внимания – крупная, суровая с виду оса. Коли ей захочется пить, никогда не плюхнется она на

⁴⁴ контур, очертание

воду, растолкав лягушек и распугав рыб, а облетит тихонько, присмотрится, куда лучше присесть, чтобы никого не побеспокоить, и самой не попасть в беду. А уж как рада каждому глотку, и не смущаясь того, славит всякую каплю, отбивая ритм. Даром, что шершень, а туда же...

Комар бьётся в окно. Проще всего верить, что он жаждет испить крови, дабы исполнить ритуал продолжения рода, копируя себе подобных, и ничего боле. Может оно и так. А если нет?

На пыльных полках дней

45

На пыльных полках дней – истрёпанные тома встреч с людьми и закладки разлук. Пустые места наполнены несостоявшимся, несбывшимся, утерянным навсегда, и в эти пробелы да прочерки не вместить уж ничего. Рядом – сколотые статуэтки разочарований, шкатулка с мелочами, в которой подарки от тех, кого уж нет, или от тех, кого не будет вскоре.

Зачем мы держимся прошлого? Отчего, сокрушив все напоминания о нём, не начнём новую жизнь с утра нового дня, с чистого, незамазанного листа... Только, этот-то куда деть после? Разжечь им печь? Так не хватит одного, нужно больше, намного больше.

На пыльных полках дней – увядшие букеты и наспех прочитанные письма. Пузатая, заполненная почти бутылка с сигнатурой, заполненной по-латыни: «Lacrimis⁴⁶», а под горстью морских камней – пустые, без виз, заграничные паспорта и маленький рапан с написанным на нём чёрной тушью именем, которого уж не прочесть, так затёрт. На полках есть то, о чём уж и не припомнить или кажется чужим, что как

⁴⁵ belle tristia

⁴⁶ слёзы

бы и не твоё, не с тобой, но в самом деле – ненужного нет. В жизни всё для чего-то стодиться.

Там много ещё места, на этих полках. Быть может, отыщется ещё и то, куда я поставлю томик, в котором ты. Если не прочитан ещё, если нет полевого цветка в середине, закладкой. Я тебя поищу, вечерами, украдкой...

Пустое

I

Вы замечали когда-либо, что, едва созревает последняя вишенка, как листья на дереве поддают жару, как бы торопясь завершить некие неотложные дела, и желтеют один за другим, а потом бегут куда-то, заскакивая на подножку ветра, или с попуткой, или ищут иных высот и глубин. А те, что остаются на дереве, – то ли пугливы слишком, то ли привязаны к дому чересчур. Бывает, что даже зелены до морозов. Но то – лишь вид один, видимость. Дерево давно спит и ему всё равно. В заботах пережить зиму, в надеждах на многочисленные весенние хлопоты, не думает оно о прошлом, не чувствует его нужным, своим. Так только – мусор под ногами.

– Да уберите ж вы его, кто-нибудь!!!

...Уходить нужно вовремя.

II

Звёзды в небе проступают росой. Смотришь на них и ждёшь чего-то. Знака какого-то, не иначе. А не дождав-шись, – дождь холодных камней, метеора зажжённую спичку... рад и им. На востоке уж ночь, а на западе небо печётся закатом. И игрушкой на ветках сияет луна.

Серой бабочки тень, терпкий запах покоса. Замечаешь, как птица крадёт в гнездо, как летучие мыши выходят на смену.

Надрез месяца в небе – словно кто-то выдернул наспех уголок карточки из альбома. Припрятал... на чёрный день или на белую ночь.

III

– Как понять, что не зря живёшь?

– Если каждый день совершать хотя бы по одному хорошему делу, то уже не зря!

– Ну, например? Старушку через дорогу перевести?

– Или так, или шмеля достать из воды.

– Ну... это ты чересчур! Это – за пределом, такое не зачтётся.

– Доброта, что имеет предел – это уже злоба.

– Ах, пустое...

– Но это так и есть.

Хорошая девочка

- Ты всё ещё хочешь птичку?
- Живую?! Хочу!

Наверное, чувство вины меня не отпустит никогда. Не от того, что пыталась затушить пламя ответственности водкой, не за скандалы и слёзы близких. Но за худенькое лицо сына, который так трогательно просил перед сном: «Мамочка, если есть, дай мне хлеб с солем и подсолнечным маслом». Да, он именно так и говорил тогда: «С солем...», хотя уже здорово умел читать, и составлял план своей первой книги о Красном светлячке. Но под нарочитым колпаком этого словообразования – «с солем», скрадывалось пламя великого смущения, так как он понимал, что может поставить своей просьбой в тупик. Если моё лицо делалось беспомощным, сын гладил меня по щеке и говорил: «Ладно-ладно, ничего, не плачь, я и так засну», и ложился, укрываясь одеялом с головой.

То было в тех пресловутых девяностых. Для кого-то они, окрашенные юностью, хороши и беспечны, несмотря ни на что. Для иных – мрачны. Всё от того, каким взглядом обращаешься на них.

Некто, гордый своим умением, вспоминает котлеты из овса и походы всей семьёй в лес за ягодами, чтобы было чем

подсластить жизнь. Самых непрактичных выручали добро-сердечные соседи, что делились уродливыми овощами со своего огорода. Бывали и те, кто, уезжая на заработки, чтобы прокормить семью, отдалялся от неё навсегда. Разлука, хотя и коварна, но всегда честна.

Пока супруг искал работу и получал отказ за отказом, до самых родов я бегала по заданиям редакции. Живота видно не было, так что я не смущала никого своим тяжёлым⁴⁷ пузом. Подгоревший кусок хлеба на завтрак, запивала чудесным порошковым израильским бульоном, не испытывая в течение дня никаких токсикозов или головокружений. Откровенную тошноту, странным образом, вызывало лишь размещённое в газете объявление о существовании некой фирмы «Резон».

Вообще-то говоря, работа здорово выручала. Редактор, выпивоха, но добрый парень, каждый день посылал гонца прикупить «к чаю» колбасы, сыру, хлеба, конфект, ну и, само собой, втрое разбавленный ректификат. Можно было, с шумного одобрения коллег, сочувствующих нашему положению, прихватить с собой пару-тройку бутербродов и для супруга. Ну и гонорар, само собой, как же без него! Конечно, единственной редакцией дело не ограничивалось, иногда приходилось переписывать текст статьи на разные, некстати, голоса, для нескольких изданий, но... кормили только в од-

⁴⁷ беременным

НОМ!

Несомненным плюсом было и то, что на любой из официальных встреч-летучек, проходивших в то время, нас, писак, тоже угощали. И, так как, для благополучия семьи, мне нельзя было пропустить ни одного застолья, то ребёнок появился на свет практически на лету, в промежутке между двумя бутербродами.

К сожалению, через некоторое время редакция свернула скатерть-самобранку, и мне пришлось заняться репетиторством.

Из пары предложенных гражданам на выбор наук и обучению игре на фортепиано, востребованным оказалось именно последнее. Денег, вырученных за этот нестыдный извечный приработок барышень в летах, хватало на горсть макарон, буханку хлеба, кусок растительного спреда⁴⁸, пару кубиков сухого бульона и на дорогу, чтобы провести следующее занятие. В случае чего, назад, на другой конец города, пришлось бы идти пешком.

Всё бы ничего, – и родители были довольны, и их не слишком старательные чада понемногу начинали играть гаммы, но тут у одного из ребят, оба ученика были мальчишками, появился попугай, который стал проявлять к приходящей учительнице чрезмерную симпатию. Стоило мне зайти

⁴⁸ растительный аналог сливочного масла, эмульсионный жировой продукт жирностью не менее 39%

в дом, как птица вылетала из клетки, и, присев на левое плечо, принималась разговаривать.

Попугай докладывал обо всём. Он рассказывал о погоде и новостях, подслушанных в кухне, о проворном, грубоватом мальчишке, который не слишком умеет заботиться о нём, и о женщине в переднике, что ругает его, попугая, за несущественные, несвойственные птице провинности. По всё время разговора, попугай нежно теребил меня за мочку и причмокивал. Особенно трогала его галантность, ибо на прощание он каждый раз легонько встряхивал край уха, как бы пожимая его, при этом шёпотом убеждая меня в том, что я – хорошая девочка.

Измученная, с синими кругами в пол-лица, я с очевидным усилием брела под дождём к остановке трамвая, но, согретая неподдельным вниманием птицы, всё же улыбалась.

Перед моим приходом попугая старались запереть в клетке или, накрыв платком, уносили к соседям, но даже оттуда доносился его возмущённый крик с требованием вернуть «на место», дабы «высказать всё». Попугай логично мыслил и формулировал складно, но лишь два дня в неделю. В перерывах между уроками он молчал.

Стоит ли говорить, что довольно скоро мне отказали от места. Причём, и от второго тоже, так как родители мальчиков дружили.

Помню, как, днями позже, плакала, обращаясь к дождю за окном. Которую неделю в доме не было ни крошки хлеба, только сырая тёртая свёкла. Она дольше обманывала голод и её можно было взять с лотков на выброс у рынка.

– Тебе и вправду нужна птичка?

– Да, очень.

– А зачем?!

– Понимаешь, хочется, чтобы она досказала мне то, о чём не успела та, не моя, и чтобы кто-то ещё раз сказал, что я – хорошая девочка.

Только, чтобы так...

Дверь была норовистой, как конь, тугие её петли поддавались стороннему понуждению отвориться весьма неохотно, но если удавалось-таки её обуздать, то она не скрипела, как многие, и не молчала, как некоторые, сытые и скользкие от жира, но ржала тоненько, словно жеребёнок. Не то, чтобы жалобно, но нежно и как бы издали.

Когда было грустно, чтобы успокоить нервы, можно было таскать дверь за припухшее ухо ручки, и слушать её переливчатый голосок. Из ниоткуда возникали худые ножки с пухлыми коленками, мягкие губы, непременно карие глаза с обрезанной щёткой густых ресниц и это, ни с чем несравнимое нервное подрагивание кожи подле лопаток...

– И долго ещё вы будете издеваться над моей дверью? – поинтересовалась соседка по коммунальной квартире, застигнув меня стоящим на пороге своей комнаты. Я молчал.

– Что же вы? – Соседка была некрасива, но юный возраст столь ловко умалял сей недостаток, что её можно было счесть хорошенькой, особенно в сумраке коридора.

– Простите, мне было не по себе, а ваша дверь... – Только и сумел выговорить я.

– Дверь? Вы пришли в гости к двери?!

– Ну, в общем... наверное. Простите меня, я пойду к себе.

– Хорошенькое дело! Как же это вежливо! – Соседка повернулась уже, чтобы уйти, но я, заглянув через голову в её комнату, где разглядел симметрично расставленные столовые приборы и дешёвый цветной хрусталь на скатерти канареечного цвета, задержал её вопросом:

– Вы ждёте гостей?

– А вам-то что за дело? – неожиданно дерзко ответила она.

– Просто спросил. – Пожал плечами я. – Не хотите, не отвечайте. Ещё раз прошу простить мою странность. – Проговорил я, и уже хотел было уйти, но меня остановил её грустный вздох:

– Да, я жду, ждала. Но никто не пришёл. Обо мне забыли. Все.

– У вас день рождения?

– Не совсем. Нынче не принято отмечать такое, у меня именины. – ответила она и взялась за ручку двери.

– Так это почти одно и то же, – из вежливости подбодрил я, – даже лучше!

– Даже лучше... – согласилась она, всё ещё порываясь закрыть дверь. – Ладно, простите, я вас задерживаю...

Осознав вдруг всю курьёзность ситуации, я расхохотался:

– Да, вы правы, я был сильно занят, прислушиваясь к ржанию несмазанных петель, но теперь совершенно свободен и могу поучаствовать в вашем празднике. Если вы не против, конечно.

Она посмотрела на меня так наивно, и так откровенно ра-

достно, что я, впервые за годы, которые мы прожили бок о бок, дверь в дверь, разглядел, наконец, глаза моей соседки, и буквально прирос к тому месту, где стоял. Её зрачки, в прямом смысле слова, плавилась янтарным пламенем взгляда, и обожгли заодно меня.

...Когда мне грустно, я задаю ей какой-то пустячный вопрос только для того, чтобы слышать, как она долго рассказывает о чём-то на разные голоса, медленно ходит, задевая меня худыми ножками с пухлыми коленками, время от времени целует мягкими губами в висок, а я... я таю под её взглядом, и стекаю воском прямо ей под ноги...

Не знаю, насколько меня ещё хватит, но, – какая разница? На сколь-нибудь, но только, чтобы так.

Чёрный сарафан в белых горохах звёзд

Солнце выставило макушку из-за горизонта, будто бы над поверхностью воды, отряхнулось по-щенячьи и забрызгало всё вокруг густыми охряными пятнами глины. Кроны деревьев, хотя ещё свежи и яркие, на миг поседели, загодя примеряя неряшливые одежды осени, а лес, – тот, как всегда, तोропился вымести из своих покоев сырость и лишний холодный дух, что набрался к утру...

Чем больше намёков на скорую осень, тем больше желается печного жара полудня и томных вялых ночей, когда не знаешь, куда себя деть, и, – то раскрываешься, то мёрзнешь, то встаёшь поглядеть на васильковый букет неба, с мелкими безымянными цветами звёзд. А после, засыпаешь вдруг нечаянно, сладко и глубоко.

Но всего через миг, на рассвете, – ни пунктир дрёмы, ни жара не мешают радоваться зареву зари, от которого не загордится ничем. И ты идёшь, едва ли ещё не во сне, к холодным водам реки, что возрождают тебя, собирая заново и дух твой, и тело, чтобы ты был снова готов стоять у поддувала лет, поддерживая огонь жизни жаром своего дыхания. Мало им своего. Без тебя – никак.

Один тлеет тихонько, с рождения прикрученным огоньком, другой сгорает каждый день дотла, и только рассвет способен возжечь тот, чёрный от копоти фитиль. Если только он ещё не рассыпался в прах, и не развеян ветром кружения чёрного сарафана в белых горохах звёзд.

Отчего ж...

В долгие холодные месяцы, что придают определённую добродушию соотечественников, жизнь утомительно разнообразна. Все силы отнимают театры да балы, катание в санях иль на расчищенном до блеска льду реки под духовой оркестр. Если бы не дремота в присутствии⁴⁹, то, право слово, – можно было бы получить полное истощение нервов. Ну, а что касается лета...

Утренняя гимнастика по Мюллеру, омовение в холодной воде пруда, да смолотый при помощи старинной фарфоровой мельницы кофе с жидкими, разбавленными молоком сливками. Остальная часть времени до полудня и полдника теряется в безуспешных попытках сделать что-либо, переспорив жару и удачно сочетающуюся с ней собственную тягу к повсеместной праздности. Летние дни и недели можно распознать лишь по календарю, и отличаются они только количеством бабочек, которых приходится выуживать из воды прежде, чем окунуться...

Истомлённые ночными утехами, бабочки совершенно бледны и лежат, раскинув руки, не в силах посторониться. Топить их жаль, вот и приходится ходить по гряды в воде, собирая их. С опаской шупая ногами дно, покрываться гу-

⁴⁹ рабочее место

синою кожей и согреться криком, определённо мешая заснуть филину, что который год живёт в дупле дуба прямо на берегу. Он, по-обыкновению, возвращается домой только под утро и, если судить по перьям, оставленным на пути в кровать, опять навеселе.

Обнажённые вены корней дерева напряжены, спутаны страшно и похожи на щупальцы осьминога, который выбрался на незнакомый берег, но для удобства, чтобы не застудиться, покрылся корой. И, хотя он не намеревался задерживаться тут надолго, вдруг пообжился, прирос душой, да и ступни от неподвижности давно уж налились свинцом⁵⁰, так что нескоро упадёт.

Впрочем, томность летней поры хороша, если она далеко позади. Когда оглушающий, отнявший волю зной отходит уже на безопасное расстояние, и можно распахнуть окно, без страха ожечься о горячий воздух, что чуть ли не сбивает с ног. В такие дни глядишься в воду беззаботно, будто бы она когда-то была тепла, громко завидуешь рыбам, которым всё ещё можно купаться, и наговариваешь лишку на свой, давно притихший катар, только бы не лезть в холодную воду опять.

– Дождусь уж следующего лета, – с притворным сожалением говоришь кому-то, поглаживая себя по груди. И тут же, почти не понимая своих чувств, с улыбкой сожаления и тревогой вспоминаешь бабочку, шершня и паука-крестовика, мокрых с головы до пят, на время примирившихся в твоей

⁵⁰ Дуб свинцовый растет по сырым низам, упруг, и долго усыхает.

ладони, под одобрительным взглядом с берега чёрного жука с ладно устроенными рожками.

Перед кем лицемеришь ты, человек? К чьему лицу примериваешь своё, подражаешь кому, на кого хочешь быть похож? Отчего ж только не на себя самого...

Сочувствие

Второй месяц лета доживал последние часы. Он был доволен, что скоро на покой, а когда будет честный повод уступить черёд следующему, он станет глядеть со стороны на то, как тот справляется с напором рассудительной осени и упрямством лета. Но... пока ещё, в полном своём праве, царил июль, и, как всегда поутру, казалось уже почти что невысказанно подойти к воде, и не обнаружить там никого, кто бы нуждался в помощи.

Иногда чудилось даже, что иные забираются в пруд и остаются подолгу мокнуть там лишь затем, чтобы ощутить на себе горячий выдох, сочувственное прикосновение или слышать непонятные уху, но внятные сердцу интонации:

– Беденький, да как же ты так...

Казалось, шмель тем только и занят, что изо дня в день поджидает меня в пруду, из которого, в который уж раз, не в состоянии выбраться сам. Несчастный и мокрый, он неприступно дрожал, но, обогретый дыханием, подозрительно скоро согревался.

Однажды я проснулся чуть раньше привычного часу, вышел из дому и тихим шагом гулял к берегу, где, на листе кувшинки обнаружил приметного по родимому пятну на боку шмеля, который, при моём приближении засуетился и

неловко плюхнулся со всего размаху в воду. Рыбы поднялись из глубины, поглядеть на красивое, но чересчур нервное его кружение по воде, проявляя любопытство, повернулась всем телом в его сторону лягушка, и даже уж, что дремал в корнях туи и не просыпался раньше полудня, выглянул на шум, поглядеть, что к чему.

Во избежание прочих, неведомых ещё неудовольствий, я поспешил вычерпать притворщика из воды, и, в очередной раз обсушив, предложил не подвергать себя подобному испытанию боле, а запросто залетать ко мне в окошко на чай.

Купание моё в последующую неделю было спокойным и приятным. Вода студила, охватывая тело со всех сторон, а я, играя с нею, вырывался так резво, что нам обоим становилось весело и горячо. Когда же я, лёгкий и холодный до красноты, усаживался пить чай, в окошко залетал шмель и, перебирая крупинки сахара в блюдце, ломким басом рассказывал о том, как прошёл вчерашний день. Мне казалось, что мы поладили, и потому, когда неким утром я увидел в воде скорчившееся полосатое тельце, не на шутку рассердился:

– Ну, я же просил! – вскричал я и потянулся было, чтобы выудить сорванца, но отдёрнул руку. Рядом с приличных размеров пауком, что болтался, обхватив шестернёй пузырьёк воздуха, едва шевелился шершень, смятый судорогой в бублик. С пауками я не дружил, но и не ссорился, а вот шершни никогда не вызывали у меня приятных чувств. Да делать

нечего, надо было искать способ выручить из неприятности и их.

Первым ухватился за подставленную ветку шершень. Паук не соглашался бросать свой буйреп⁵¹, так как явно опасался осы-переростка, но тот крепко держался за листья и не желал отпускать рук даже на суше. Мои крики «Имей совесть, ты не один!» не достигали его сознания, посему пришлось тянуться к пауку так, веткой с оседлавшим её шершнем. К счастью, паук, сообразив, что враг пока неопасен, и, как только стебель приблизился, ловко зацепился за него рукой и подтянулся.

– Ну, ребята... ну, вы даёте. Что ж вам всем тут на берегу то не сидится, – Причитал я, устраивая ветку так, чтобы с неё было удобно слететь и сползти. Но, присмотревшись внимательнее, я понял, что эти двое, заключив перемирие, сообща переживают происшествие и расходиться пока не намерены. Паук жестикулировал и вращал сияющими радостью очами, а шершень хлопал себя по бокам и тряс головой, будто говорил:

– Нет, ну вы представляете, вот, бывает же такое...

Оставив странную парочку в покое, я вошёл в воду, наскоро выкупался, а, когда уходил, всё ещё слышал, как шер-

⁵¹ буйреп -грос, закрепленный за якорь поплавком (томбуем)

шень, который отогрелся и уже мог говорить, что-то шепелявил, сочувствуя пауку.

Милосердие

Вместо того, чтобы бежать, уж полз прямо на меня.

– Ого! Ты чего это? Случилось что? – Змей волновался молча и успокоился, только положив голову на мою ногу. Я хотел было погладить ужа, но тут, по другую сторону забора, услышал возню и грузную поступь. То, совершенно не таясь, молодой, лубочно красивый кот явился вершить правосудие, как он его понимал, в моём маленьком мире, где ужи не едят ящериц и лягушек, осы мирно строят свои дома, а птицы без страха растят детей.

Лягушка с порога шалаша из листа водяной лилии наблюдала за тем, как я с негодованием гоню прочь кота. Сокрушаясь с берега, ящерка кивала тяжёлой головой ему во след. Кот ушёл, конечно, но по дороге обернулся, чтобы с ненавистью и превосходством посмотреть мне в глаза. Зверь думал слишком громко, посему нам хорошо было слышно, как пронеслось у него промеж ушей: «Ну... ладно, юродивый, посмотрим. Я тебя запомнил...»

Жара растеряла все свои меры и казалось, будто буйные головы трав парят на прозрачных стеблях. Рулетки ромашек никак не могли остановить свой бег, походя роняли золотые монеты отцветших гаданием цветов, звенели ими, как куз-

нечики своим монисто.

Было слышно, как у сараев, в надежде напугать мышь, бо-
дает пленницу лис. Но хитрая полёвка, давно уж знакомая
со всеми его уловками, лишь плотнее куталась в бархатную
шаль мха и дремала.

Марево над дорогой стелилось паутиной. Пыл солнца по-
буждал шмелей двигаться скорее от цветка к цветку, а фаль-
шивый бриллиант смолы на мохнатой груди сосны сиял
неподдельным счастьем.

Вдруг шершень впопыхах налетел на меня и вся во-
да, которую он нёс, чтобы напоить домашних, залила щёку и
смочила волосы у виска. «Надо же, как её много», – подумал
я про себя, а вслух искренне, сердечно попросил:

– Прости!!! – И шершень, вовсе не собираясь хмурится
или ворчать, тут же сделал лишний заход на воду, облетев
меня чуть левее. Только и всего.

Оглядевшись по сторонам, растроганный ушёл я домой со
спокойным сердцем, но наутро...

Соседский кот убил ящерицу.

Ещё вчера она глядела на меня доверчиво, обсуждала с
лягушкой дурные наклонности ужа, а нынче, – прокушен-
ный ради забавы затылок, тускнеющая без привычного ухода
сетка зелёного перламутрового трико и замершие в послед-

нем откровении ладони: «Не трогай меня! Уходи!», – только одно и мог означать этот жест. Ни страха, не угрозы, лишь просьба о пощаде. Но кто её расслышит, в самом деле? Почти никто.

Затем и живём

– Кап-кап, та-да, кап-кап...

Через пробоину дна перевернутой лодки уже набралась приличная лужа. Птенец малиновки, мёртвой хваткой вцепившись в киль, восклицал в такт падению жирных капель:

– Ага, а-а, ага... – И провожал взглядом каждую. Сверху – вниз, сверху – вниз. Бульон воды кипел давно, и следуя скорому истечению жизни, птенец чувствовал, что взрослеет. Пух щёк, который выдирали он остервенело по вечерам, как последнее напоминание о младости, коей так стыдился, выдавал в нём подростка, и это было лучшее, что рекомендовало его теперь. Всё то, что ожидало впереди, казалось неважным, – и тяжёлый перелёт, и недолгое семейное счастье, и грядущее одиночество. Даром, что красив и строен, даром, что глубок. Но не голубок он, отшельник, а по добру ли, или по принуждению, – кто теперь разберёт.

Ватная борода облака развевалась на ветру. Казалось, что небо бежит куда-то на виду у всех, кого-то ищет, и никак не найдёт. Себя бы не растеряло...

Паук, раскачавшись на батуде сплетённых им сетей, красиво прыгнул в воду и завис там, обхватив предусмотрительно припасённую авоську воздушных шаров. Люди именуют

подобное иначе, да уж пауку приятнее думать так. Но в самом деле... Это можно было сравнить с рогатым поплавком мины, готовым взорваться в любой момент, что беззаботно дрейфует по волнам морей жизни, и, сталкиваясь с кораблями судеб, бьются о борт и крошат его, отправляя на дно, или так только, калечат больно.

Насмешки сравнений... В поисках истины, они лишь путают следы, уводят дальше от простой красоты облака, пронзённого веером лучей, видного с берега волосатого камня под водой, подле которого кружат озорные перламутровые рыбёшки.

А худые рёбра разбитой о камни лодки, – символ ли это безнадежной тоски или же память о славном походе, – кому как, и то кажется неважным на первый взгляд. Но в самом же деле, понимание того, что умение радоваться трудностям, находить счастье в одолении их, а не пережидать непогоду, забившись в норе, – одно из главных свойств человека. Затем и живём.

Кактус, который любил гулять

С глухим звоном, как шарик от пинг-понга, кактус выпрыгнул из плоски, и, ударившись о тугую марлю оконной сетки, упал. Это произошло на глазах у изумлённого кота, который всполошился и взволнованно мякнул, призывая хозяйку.

– Что там? Опять жук? – Поинтересовалась женщина. – Хотя... звук скорее был похож на вылетающую пробку... Странно. – Сказала она сама себе или коту, неважно, это было, по сути, одно и то же.

– Мя!

– Не волнуйся, поймаю, найду и выпущу за дверь, не первый раз, они к нам постоянно залетают. Такое ощущение, что здесь жуков перекрёсток.

– Мя!!!

– Да, ладно тебе, найду! Иди, попей молочка.

Но кот, который от подобного предложение не отказался бы даже, разбуди его среди ночи, не унимался:

– Мя!!!!!! – на весь дом взволновался он, и хозяйка подошла-таки поглядеть, что произошло. Пушистый любимец сидел у плоски и носом указывал на пустое место.

– Опять?! Да, ладно.... Ну, и куда ж он подевался?!

Это был третий по счёту побег кактуса. За первые два,

как было видно теперь, совершенно напрасно отругали кота. Маленьким зелёным ёжиком кактус лежал на боку, аккуратно подобрав под себя лапки корешков. Возвращение на место он воспринимал без особой радости. Сопел, косился, ершился и ёжился, но кушал хорошо и поправлялся. Был небрит, цвет лица имел сочный, зелёный, приличный званию. По упругости колючек мог бы потягаться с любым диких его собратьев.

Вероятно, в этот раз кактус решил исправить промахи прежних вылазок и прыгнул так далеко, как сумел.

Во время поисков беглеца, из потаённых дальних углов были извлечены два теннисных шарика, о которых некогда переживал кот, и один золочёный орех, скатившийся с ёлки год назад.

Найдены были также: счастливый трамвайный билет, похожее на миниатюрный зеркальный шар гнездо паука, расчёска отца семейства и бумажные десять рублей образца одна тысяча девятьсот шестьдесят четвёртого года.

– Ну и ничего себе. Трамваи давно не ходят, расчёска лысому тоже ни к чему, про гнездо и деньги промолчу, но кактус... куда он задевался, в самом деле?! – И тут хозяйка почувствовала под ногой некий бугорок на полу. Она нагнулась и разглядела квадратный кусок земли, по форме напоминавший пропажу.

Всем стало грустно. Кот пошёл пить молоко, хозяйка направилась мыть посуду, что осталась от обеда, а отец семей-

ства скрылся, как водится, в гараже... И каждый из них, переживая случившееся по-разному, думал об одном:

– Что осталось от него? Ямка в земле, которая скоро зарастёт. Закончил жизнь комком грязи, а мог бы цветком...

Главное

Читать вслух, под шум проходящего состава, так же невкусно, как пить кофе в темноте. От кофе остаётся одна лишь горечь, ни тебе нежной пенки цвета топлёного молока, ни притаившейся в глубине глотка сладости. А от чтения... Что остаётся от него? Беспомощное шевеление губ, бестелесные слова, да и искры, высекаемой ими не видно тоже.

Но вот, когда за окном, деликатно шурша полосками штор дождя ходит кто-то невидимый, уютно читать, хорошо спится, думается о хорошем, но лишь до той поры, пока не вспоминаешь, что где-то там, на берегу холодной глубокой лужи стоит коротконогий ёж, и ему непременно нужно перейти на другую её сторону босыми маленькими ступнями... И сон бежит от тебя, не оборачиваясь, и, кутаясь в одеяло, не можешь унять никак зябкую дрожь, а всё от того, что не в состоянии обогреть всех, кого хочешь, да и среди тех, кого можешь, согреваешь не всех.

– Что ты ворочаешься? Опять не спится?

– Да вот, попросили написать стишок, и в голову лезут всякие дурные рифмы, но все они пахнут пошлостью.

– М-да... Кому только в голову пришло предлагать тебе такое. Стихи... это стихия, а не описание ситуации. Это всё равно, что добиваться ответа на вопрос о чувствах.

– Да-да, точно. Вроде: «Скажи, ты меня любишь?» Слышишь такое, и не знаешь, что отвечать.

– Ну, так...

– Что?

– Ты меня любишь?..

– Знаешь, недавно видел объявление, крупными буквами: «Заказные убийства», а внизу, мелко – тараканы, клопы... Нельзя профанировать подобные фразы. Они проникают в сознание и делаются чем-то обыденным, чего, якобы, не стоит пугаться, стыдиться, чему не стоит противостоять. Это как публичная казнь на дворцовой площади по средам.

– Прости.

– Да нет, ты меня прости. Вероятно, я недостаточно делаю, чтобы выразить моё к тебе отношение. И остаются сомнения, которые мёрзнут
недопитым чаем на столе...

– И от него так сладко пахнет дюшесом!

– Слушай, у тебя совершенно не портится характер. Даже, кажется, делается ещё лучше. Раньше... давно, я думал, что ты притворяешься, ждал, что вот – ещё немного, ты сорвёшься и покажешь своё истинное лицо. Ведь невозможно быть до такой степени добрым человеком.

– А я временами кажусь себе гадкой, и от того стараюсь всё меньше критиковать кого-то, просто пытаюсь там, где это

зависит от меня, сделать так, чтобы любое хорошее или одно лишь побуждение к нему, было столь же естественным, как выдох и вдох.

– Ты только помни, мы умеем понять лишь то, что уже приняла душа.

– Она довольно скрытна, и умеет удивлять.

– Это точно. Иногда нечто, услышанное ещё в детстве, посещает тебя, как озарение. И кажется таким простым, понятным. Думаешь тогда, – ну и дураком же я был...

– И у меня так бывает, да и у всех, наверняка. Вот помнишь выражение: "В рубашке родился", – это о тех, кто сохранил первозданную чистоту, доброту, и от того-то неуязвим перед силами зла.

Мы недолго молчим, и поднимаемся почти одновременно.

– Ты куда?

– Туда же, куда и ты!

– Фонарик возьми.

– Уже...

Сквозь махру дождевых струй мы добираемся до большой лужи, у кромки которой стоит ёж. При виде нас он радостно сопит носом и теснее прижимает иглы, чтобы не уколоть. Он совсем лёгкий. Я провожу по его спине ладонью:

– Шуршит! Как еловая шишка, если её погладить! Ой...

погоди, не отпускай, я вытру ему лапы. Холодные...

Отпущенный, ёж не торопится покидать нас, но ему пора и мы расходимся.

– Как жаль...

– ... что ты не в состоянии обогреть всех, кого хочешь?

– И даже всех тех, кого могу!!!

– Ты пытаешься, и это главное.

Мимолётность

Утро морщилось под фатой тумана. Ему было неудобно, но не от духоты или стекающих по щекам слёз росы, а от того, что маленькое зеркало пруда в гранитной оправе, перед которым обыкновенно прихорашивалось оно прежде, чем дать любоваться собой прочим, было пусто. Пара глаз, будто соскочивших с ожерелья бусинок златоискра⁵², уж не смотрели на него оттуда с весёлым радостным любопытством и надеждою на новое в очередном славном дне.

Брошенные в суматохе сборов стопки листов лилий, скомканные записки, не долетевшие до мусорной корзины, а кое-где даже обгоревшие до коричневы невесомые рукописи, навечно ускользнувшие от нескромного праздного любопытства... Оглядев беспорядок, утро сдёрнуло фату, завернулось в платок тучи и пропало.

Я ощутил некое беспокойство. Слишком странной показалась скорая перемена настроения за окном. Лёгкая, тягучая, как сахарная вата, дымка тумана обещала тёплый день и прогулку, в привычной компании. Кампания же, которую затеял вдруг ветер, не входила в мои планы, и я поспешил выйти из дому, чтобы опередить непогоду.

Предвкушая тёплую встречу, я улыбался и едва не зашиб

второпях моего друга. Судя по всему, он уже уходил, но не хотел показаться невежливым, а потому терпеливо дожидался меня сбоку тропинки. Ему не было дела до проходящих и проезжающих. Он ждал, пока появлюсь я. Два года, что мы провели вместе, нельзя было завершить вот так вот – просто исчезнув в никуда, оставляя меня в неведении беспокойства и страха по нём.

– Ты... не передумал? – Спросил я, присев на корточки, чтобы лучше видеть его выражение, а когда понял, что всё уже решено, и не смогу уговорить его остаться, с пугающей, неожиданной для меня самой горячностью произнёс:

– Милый мой, ты ж понимаешь, как я стану скучать по тебе! Кто кроме снесёт спокойно мою болтовню, кто предостережёт о том, насколько холодна нынче вода, кто напоёт мне забытую, запутавшуюся в траве детства мелодию...

– Иди уже, а то я расплачусь, не оборачивайся только, – внятно подумал лягушонок.

Из уважения к нашей дружбе, я сделал так, как он просил, но пройдя несколько шагов, не удержался-таки обернуться и заметил слёзы в его глазах. Лягушонок не рассердился моего слушания, скорее напротив, но, пока я утирал своё внезапно мокрое лицо, тропинка уже оказалась пуста.

В попытке догнать лягушонка, чтобы посмотреть на него ещё раз, я едва не наступил на ужа. Перебегая мне дорогу, тот заметался было, но замер, услышав знакомое:

– Ты куда? Не бойся, это ж я...

Изогнутой лентой, обессиленный и расстроенный, уж упал в траву мне под ноги. Видимо он тоже торопился проститься, но не успел.

Насмехаясь над мимолётностью чужих жизней, мы укорачиваем свою, но переживая судьбу всех тех, кто окружает нас, мы обретаем бессмертие.

Слишком

Одна из замечательных примет жизни – возможность следовать привычному укладу. И если нарушается он, то на это может быть всего три причины: путешествие и перемены, – дурные или наоборот.

Однажды, в день похорон бабули, я увидел деда, занимающегося зарядкой, и сильно удивился, – нет, даже решил, что он помешался от горя. Но, приглядевшись внимательнее, понял всё же, что, напрягая живот и ритмично выдыхая, старик пытается вернуть себя к жизни. С трудом выбираясь из пропасти ужаса, собирает крохи привычного, навсегда и бесповоротно растерзанного распорядка, чтобы как-то выжить самому.

Это не было приметой бессердечия или равнодушия, но признаком той силы воли, – быть дальше, которая отыщется не сразу, не у каждого и далеко не всегда.

Разглядывая отстающую по контуру аппликацию облаков и растерзанную ветром бархатную бумагу леса, я думаю о том, что самые тяжёлые испытания для человека – любовь и разлука. Именно на их холсте и происходят все события жизни. Чем сильнее любовь, тем страшнее разлука, и неваж-

но, кто был предметом⁵³.

Иные могут счесть меня чудачком, не самое дурное, впрочем, звание, но нынче поутру, когда я не увидел в пруду лягушек, которые обыкновенно дожидались моего появления и улыбались в ответ привету, ощутил тот самый горький вкус, что источают сердечные раны.

Не к чему скрывать, – мне льстило внимание земноводных, умиляла их безыскусная радость при моём появлении, когда, подбираясь ближе к ногам, они тихо мяукали или урчали по-кошачьи, если я гладил их пальцем по голове. Весьма красноречиво наблюдая за моим барахтаньем в воде, мрачней от холода, никогда не торопились они под одеяло тины, а ждали, пока уйду.

Отвечал ли я им взаимностью? Да! Но теперь не делается легче на душе от того. Чем ни отблагодари за внимание к себе, всё окажется меньше, чем оно того достойно.

Сердце плачет непрерывно, а дождь мокрым пальцем листает скользкие страницы жизни. Слишком торопится, слишком, слишком, слишком...

⁵³ предмет любви

Любовь

– Ты заметила, от тебя все бегут?

– Я не понимаю...

– Да, чего тут! Птицы упорхнули, как с фронта, «неся значительные потери», у других вон, малина да укроп вместо сорняка, а у тебя шаром покати. Гадюка и та не ужилась с тобою, цветы выпрыгивают из горшков. Рыбы, если бы могли по сушу, аки по воде, тоже ушли бы давно. Что тут говорить, – недолго пообщавшись, от тебя бегут и люди!

– Но почему ты так говоришь? Я не понимаю – зачем ты так, за что?! – зарыдала вдруг она, и мне пришлось открыть ту нелепую правду, с которой я жил уже много лет:

– Видишь ли, только прекращай реветь сейчас же, ты всех душишь своей любовью.

Она всхлипнула и, пересилив глубоким выдохом рыдания начала говорить:

– Неправда. Всё не так, как ты думаешь. Помолчи, пожалуйста. Слышишь, вон там вот, звуки?

– Ну, птицы взлетели, что такого?!

– Это они улетают, побросав книги, их крылья шуршат, словно листья обронённых на пол томов. А люди, – те исчезают, так и не закончив своих романов.

– Писатели, что ли?

Она на меня посмотрела, как на маленького и мягко, уступчиво произнесла:

– Романов со своей судьбой, с человечностью.

– А... Но это не объясняет того, отчего все бегут от тебя.

– Да не от меня они бегут, за жизнью своей стараются поспеть.

– Это ты так себя успокаиваешь, понимаю, бывает.

Она улыбнулась мне, вовсе как несмышлёнышу и, рассматривая лес за окном, стала говорить, тихонько так, едва ли не шёпотом, то ли ему, то ли себе:

– Про малину, это ты верно заметил, только, чего уж тут греха таить, не земля у нас тут, глина сплошная, но я не сержусь, с чего бы, да и огородник из меня неважный. А вот про птиц и зверей... Проверяют они и меня, и себя.

– Чтобы что?

– Узнать хотят, можно ли доверять человеку, способен ли он ещё любить, без оговорок и условий, просто – любить.

– Не выдумывай.

– А ты сам посуди. Я ж не о котятках в лукошке толкую. Вот тонет, к примеру, оса. Если укусит, ты знаешь, мне не поздоровится, но я достаю её из воды, сушу и отпускаю. Она глазки протрёт, да летит мимо, с докладом, – так мол и так, было дело, всё по порядку своим расскажет, соседям пере-

даст.

– Шутишь!

– Не шучу, слушай дальше. Гадюка ползёт. Для меня её вкус – лучше не думать, что может произойти, а я с уважением к ней, с добрым словом. Так и она не грубит, не пугает, а напротив – осторожничает. Что до птиц, те на каждом дереве под окном, да по три гнезда выют, и весь выводок тут же, на глазах, чтобы показать детворе, как оно, когда по-настоящему, по-человечески бывает!

– Ну, хорошо, узнали они все, как надо, а дальше-то что?

– Летят по миру, идут дальше, крутят колесо жизни.

– Глупо как. А почему к тебе?

– Так не только ко мне, дурачок! Ко всем они идут, к каждому! Да мало кто замечает то. Подумаешь, – птичка подлетела, муравей по руке пробежался. Страхнуть, турнуть, ногой топнуть, оно ж проще.

– Дела у всех! Работа, занятия, своя жизнь!

– То-то и оно, что у всех она – жизнь, а не только у человека.

Мы помолчали.

– Давай, выйдем, душно что-то, – попросила она.

Небо, словно залитое синей глазурью, сияло в медной, позеленевшей от времени, оправе леса. Неторопливым шагом дошли мы до берега пруда и остановились. Из кустов вишни неподалёку, навстречу нам, пролилась тонкой струйкой

змея.

– Здравствуй, мой хороший! – сказала она, наклонившись к ней.

Уж, то был он, я узнал его по подворотничку, качнув головой, пристроился подле её ног, изредка высовывал чёрный раздвоенный язык в мою сторону через уголок рта, прямо так, не поворачивая головы. Он явно присматривался, пытаюсь понять, насколько я хорош, но увы, теперь мне это было неясно и самому.

На волнах вечерних зорь...

Как избежать мелодичного укачивания
на волнах вечерних зорь,
не знает никто...

Фигура, скованная ломкой коркой льда с наветренной стороны, медленно перемещалась по полю от одного холмика травы к другому, словно по шахматной доске, оставляя за собой белые разношенные, скоро заживающие оспины следов. Снег шёл крупными, хорошо различимыми хлопьями, как широкой поступью. Роняя себя на тёплую, ещё живую землю, он густел, как кисель, чем портил первое праздничное впечатление об себе.

Казалось, лишь вчера, солнце, позабыв о скромности, взирало на то, как, перебивая друг друга, струи дождя смешиваются в пену. Одумавшись, оно споро сушило округу, сметая по кругу воду, выжимая её в подставленные ладони деревьев. Те долго ещё забавлялись после, обрызгивая друг друга. И не уставала звенеть упруго вода, покуда последняя травинка не перепрыгивала остатнюю⁵⁴ каплю, перепоручив её жадному до всего мху.

Мох – сущность коварная, вездесущая, прикрывающая

⁵⁴ последний

собой люблюю праздность. От лени своей не рождает цветов и не привязывается ни к чему⁵⁵. Не потому ли таит под спудом своим сонм загадок тех, сырых от погоды и слёз, любимых его мест.

Протянув руку, я осторожно погладил мох. Его шёрстка, против ожидания, оказалась слишком мягкой, со струящимися рыжими ворсинками. Я провёл по ним раз, другой, третий... Мох неожиданно задрожал, принялся мурчать, и я открыл глаза.

Закат за окном, осыпая золотыми блёстками листву, чудил. Разогнал напуганных до бледности бабочек, заставил умолкнуть птиц, и бил наотмашь по глазам любому, при прямом, честном на него взгляде.

– Всё от того, что неуверен в себе, потому и стыдлив без меры, и зол. – Назидательно произнёс я, не переставая гладить разомлевшего кота, после чего добавил, – Да... дремать вечерней зарёй и впрямь не к чему. Приснится же... До снега ещё ого-го! – Я широко отворил рот, чтобы зевнуть, но завершить начатое не смог, ибо, обернувшись на возню, рассмотрел голубя, что одну за другой склёвывал с подоконника ровные некрупные, как саго, горошины льда...

⁵⁵ мхи не имеют проводящей системы

Очевидное

Над печной трубой, подменяя собою дым, висит облако. Так оно понимает дружбу.

Шмель треплет чистотел за его рыжий чуб. Подсыхает отстиранная за ночь трава, и осы переворачивают, лохматят её, по одному обирают неровные сырые кусочки аквамарина и уносят в известное им одним место.

Слипшийся пух одуванчиков и пушинки чертополоха, как обронённые из подушек, либо перины перья, не нужны никому до поры. А обсохнут, – подхватят птицы или ветер, и, – только их и видали. Мы позабудем, что они были тут, а им не припомнить, как величать нас.

Двухцветная крапива прыскает от смеха семенами там же, где мята перчит каждый вдох.

Израженный куст калины кровоточит. Бабочка ржавеет на лету. Растянув нитки на растопыренных пальцах травы, мотает пряжу паук. Тихо постукивает алебастровыми кастаньетами винограда ветер. Сбрызнутый патокой неба, сладко цветёт цикорий.

Вишни, оглядевшись вокруг, принимаются записывать что-то в свои блокноты. Долго скрипят тонкими ветвями, правят часто или вовсе вымарывают рыхлую вязь слов, а после неаккуратно вырывают покрытые чёрными точками ли-

сточки, бросая их тут же, в надежде на то, что ветер позже подберёт.

Стеклярус белой смородины лопается под ногой, крошится мелкими семенами.

Обрывки жёлтых листьев, будто страницы прошлогоднего, ветхого, ненужного никому календаря, прикрывают тонкие прутья молодого клёна, что скромны и невольно обращают внимание на себя лишь в позднюю пору бесцветной осени.

Седой локон облака выбивается из шевелюры неба. Ветер нежно ерошит его, и звёзды стекают от умиления вниз, не стесняясь наступившей темноты. Очевидное днём, незаметно в ночи и наоборот, но... всё вопиёт: «Я живой! Я живой! Я живой!»

Кузнечик на ладошке

Мне нравятся кузнечики. Они похожи на морских коньков, и потому-то для меня всё равно, где те прячут свой слух, – повыше щёк или под коленками передних нескладных ног.

Забавно, но, в отличие от людей, у кузнечиков особенно любят поговорить мальчишки, и болтают аж до первых заморозков, а вот девчонки молчат. И правильно делают. По крайней мере, нежный пол можно не брать в расчёт, выясняя, кто виноват в приставшем к кузнечикам прозвищу, не из-за них их так долго дразнили стрекозами

По берегам морей стрекочут крупные, сухопарые, ленивые кузнечики. На полянах редколесья – мелкие и смешные. И тех, и других легко ловить, а когда раскрываешь ладонь, они не сразу спрыгивают с неё. От духоты, неохоты, от краткого неопасного заточения или вследствие бесстрашия, долго шевелят они там усами, будто строят двумя пальцами «козу», а уж после, неожиданно, в два прыжка...

– Ой! Да куда же ты!?! Щекотный! Хорошо, что не укусил, а ведь мог!

Кузнечики беспощадны как к врагам, так и к соплеменникам, которые так или иначе порочат славное звание настоящих кузнечиков. А вот в еде непривередливы.

Гуляют кузнечики и днями, и по ночам. Вступая на лунную дорожку, они делают шаг, другой, но смущённые сбегают с неё поспешно. Не всегда и угадаешь, что то были они.

Кузнечики просты, и в оправдание наивных на них надежд, не упускают случая уважить якобы случайным прикосновением. Разбегаясь в стороны, будто бы ненароком прыгают на ноги, упреждая неверный шаг, на плечи, пытаясь обнять, на руки, пожимая их, как умеют.

Вот так – исподволь, невзначай вылепливается приязнь, способность понимать, что зарождается в желании сделать это.

А вы? Хотелось ли когда-нибудь вам подержать кузнечика на ладошке? Просто так, ни для чего, низачем. Но, чтобы ощутить его хрупкость, отвагу, и выпустить с лёгким сердцем человека, для которого главное счастье – сделать что-то хорошее, без корысти для себя.

Вера, Надежда, Любовь...

Восстанавливая здания монастырей,
люди забывают о Вере,
которая не поддаётся реставрации.
Она или есть, или её нет...

– Чем яростнее добро борется со злом, тем менее от добра остаётся в нём.

– Не понимаю... Чушь какая-то! Что от него останется, коли так?!

– Так, в любом разе, ничего, кроме надежды.

– На что?!

– На лучшее...

Когда тебя не принимают, а осколки окружающих миров с трудом подходят к граням твоего, – это не повод запереться, но побуждение к тому, чтобы распахнуть настежь двери, где уже поджидает другая напасть, уберечься от которой очень непросто. Пересуды, укоры и тому подобное, назойливое, ибо знают, не понимающие об тебе, как оно лучше.

Истратив жизнь на оправдания, как на погоню за мухами, невольно отстанут попытки

отыскать смысл чего-либо: бытия ли или его противополо-

ложности. Но лишь убедив себя в том, что важен не итог, а ход событий, и умение насладиться им сполна, как находишь силы гнать прочь дурное, как комара за окошко. Кстати же вспоминаешь о друге, жалостливом чудеке, не считавшем себя вправе лишать жизни кого-либо. Тот ходил, извечно покусанный, но менять отношения к себе не хотел. Видел его, конечно, чувствовал, понимал, да, коли не сумеешь сохранить собственные черты, то как узнать после, каков ты, настоящий, и был ли ты, в самом деле?

В любой истории столько додуманных и переименованных историй, что стоит отдавать честь лишь частным случаям, судьбам и воспоминаниям, ухватившим горло резиновой рукой слёз...

– Я расскажу тебе об одном человеке, который писал сказки. Он не был поэтом или писателем ни в половинной, ни в полной мере. Медиатор своей души не берёг, а тратил везде, где только мог, с тем искренним пылом, которого в достатке у людей наивных, честных и неискущённых в подлостях. Много таких же вот сгнуло в ловушках бесчестных и практичных, но нашему герою некоторым образом везло. Как только очередная сеть стягивалась над его головой, он влюблялся. И, оглядывая мир восхищённым оком, принимался писать. Отыскивал прелесть в полных талиях гусениц и оправдывал легкомыслие бабочек, восторгался тру-

долюбию муравьёв и рассудительности голубей. В общем, – принимался воспевать то, к чему его очередная обже⁵⁶, как оказывалось вскоре, не испытывала никаких чувств, ибо это невозможно было сменять на булавки и пряники. Само собой выходило так, что каждая из его сказок обрывалась примерно на середине, оканчиваясь громким, разорительным для души расставанием, загодя подготовленным надменным предметом⁵⁷.

Измученный вконец разочарованиями, наш сказочник решил более не влюбляться и дал себе глупый зарок – оставаться одиноким. Но всё же, иногда, когда не с кем было поговорить, кроме голубей, повадившихся полоскать горло на подоконнике, ему вдруг возникала охота непременно разобраться в причинах своих любовных неурядиц, и потому, раскрывая вечерами тетрадь, куда обыкновенно записывал сказки, перечитывал их, чтобы понять, – в чём ошибся, что пошло не так. По всему выходило – он ни в чём не виноват... Пока однажды из тетради не выпала вдруг страница, исписанная некогда знакомым ему женским почерком. На листке тоже обнаружилась недописанная до конца сказка, но, как только наш герой принялся сравнивать её со своими, сразу понял, в чём ошибался. Каждая из его историй была неинтересна и пуста с самого первого слова, но он, вполне осознавая это, пытался насильно привить, приписать к ней несуществую-

⁵⁶ Предмет любви

⁵⁷ Предмет любви

щее волшебство любви, тогда как незавершённая не им сказка была полна надеждой и верой в него, и даже недосказанной, полно жила своею жизнью.

– Для любви нужно, чтобы две истории слились в одну, чтобы, даже оказавшись порознь, они текли полноводными реками, но любое их совместное течение превращалось бы в заурядный бурный поток, что смывает на своём пути всё, что мешает его устремлению вперёд.

– И причём здесь вся эта муть? Он же один так и остался, слова сказать не с кем!

– Почему один? На обороте листочка со сказкой был указан номер её телефона и два слова.

– Это ещё какие?

– «Я жду».

– Да она замужем давно, наверняка!

– Ты удивишься, но нет. Тот, кто знает толк в жизни, не станет тратить её на нелюбовь.

– И... они встретились?!

– А ты как думаешь?..

...Восстанавливая здания храмов и монастырей, люди редко задумываются о главном, о Вере, которая не поддаётся восстановлению. Вера в Любовь, – она или есть, или её нет...

Судьба

Тень нежилась в прохладе пруда, а лист, который прикрывал её собой, изнывал от солнечного жара. Он давно свыкся со своею участью, и, ограждая тень от всяких напастей, довольствовался редкими порывами ветра, что пособляли ему дотянуться к воде, чтобы хотя немного привести себя в чувство. Злые языки часто шептались за его спиной о том, что он сильно сдал, и словно бы уже не тот, каким его видели или знали раньше, но мало верил всему, что про него говорят. Приобретённую сухость и чрезмерный загар относил он за счёт мужания и приложенной к нему способности противостоять напастям. Иногда, редко, что-то глубоко внутри заставляло его скорбеть по себе, но он гнал заботами дурные мысли прочь.

Между тем, тень, сберегаемая листом, предавалась неге беззаботно, и казалось, совершенно не задумывалась о своём происхождении. Благодушное её настроение в рассветную пору, скоро менялось на нервность полудня, когда всё казалось ей не в пору, и не по сердцу. Тень не ценила усилий угодить ей и утомляла лист до той самой поры, пока бутоны звёзд, пробиваясь сквозь толщу вод, делались всё заметнее и пышнее.

И вот однажды поутру, небо, которое слыхало всё, что выговаривала листу тень, решилось проучить его, и, упробив

ветер примять лист до поры, расположилось поглядеть, что из этого случится.

С первыми минутами утра, когда тень, привыкшая принимать наполненные струями солнца розовые ванны растворённого в воде рассвета, не отыскала себя в отражении, в воздухе рассеялась некая изошрённая тишина. Тень, порешив сперва, что плохо смыла с глаз пену, промолчала, но, спустя миг, ощутила полное отсутствие себя в окружающем мире.

Тень была, несомненно, избалована, но не так уж глупа. Скоро разглядев опрокинутый навзничь, тесно к её лицу лист, она поняла, что была не права-таки, сочиняя об своей неопределённости и свободе ото всех и вся.

– Ты не ушибся? – спросила тень тихонько, обращаясь к листу, – Прости меня. Зависеть от других нелегко. Я забывалась, как могла. И утомляя тебя своими капризами, зывала к состраданию, вызывала в тебе то чувство вины, которого ты, конечно же, не достоин.

– Похоже, что мы оба ошибались относительно друг друга, – погода вздох, так же тихо ответил листок, – и, знаешь, мне намного легче от того, что теперь я буду понимать причины твоего своенравия.

– И мне будет легче от того ж, – ещё тише проговорила тень.

С тех пор, покуда тень растворялась томно в прохладе

пруда, лист, который по-прежнему прикрывал её собою, не изнывал от солнечного жара, как бывало. Эта неразлучная⁵⁸ парочка не представляла жизни друг без друга, и от того легче прощались каверзы, недомолвки и промахи, ибо не было уж в них прежней вины бессердечия, но одна лишь судьба, коей не убежишь.

⁵⁸ не могущий разлучиться, быть разлученным; неотделимый

Ясность

Скучно небу без облаков. Некого ущипнуть за пухлый подбородок, некого приласкать, прогнать некого. Просторно, пусто, а внизу, под ним – мох бескрайних лесов и тонкий ручеёк рельс.

Возле железнодорожных путей, непостижимым образом всегда чувствуется движение воздуха. Это ветер странствий, который сообщает всему, что подле, желание сорваться с привычного, знакомого во все стороны места.

Разбитое на кусочки сердце насыпи, как руины гранитных изваяний, ступая по которым, не кощунствуешь, но взываешь к их пробуждению.

Коли зазевался чуть, остановился дольше, чем на три шага, – пчёлы, что обосновались промеж ними прочно, тревожатся, просят сойти.

Тут же, между камней, – пуки трясут половики паутины на ветру.

Бабочки, те недолго летят поперёк воли ветра. Но ни мерные пощёчины выскальзывающих скорых, ни тяжёлые, наотмашь, товарных, не могут изменить того положения вещей, что лёгкие, как снежинки, семена чертополоха не вмешива-

ются в общий поток течения жизни, как бы ни был он силён.
У них свой путь.

Сердечность тополей, настороженность сосен, притворная безмятежная невинность берёз, что вышли так близко к дороге, не в силах умиротворить взора. На это способно одно лишь разнотравье. Составляя причудливые картины из своих, особым порядком расставленных пятен, которые соседствуют, сопутствуют друг другу и в горе, и в радости, они переливаются через края в прозрачный сосуд, где медленно закипает придорожный мираж. Густой, жёсткий с виду и на ощупь зачёрс тропинки, мешает ему выйти из себя, и, прикрытый прозрачной крышкой тени, он ещё долго остывает, выпуская пар пыли и пыльцы.

Лишённое обивки облаков, небо не приглушает звуков хора кузнечиков, что нестройно поют трескучими голосами, да и дятла, который тренирует своё соло, слышно хорошо, как ни старается он играть потише.

В этой небесной ясности свободно лишь звёздам: сколь их не насыплется, всякой хватит места. Только вот... Как бы им не простыть, – ни одеял, не накидки, ни перин...

Скучно небу без облаков.

Ястреб

– Я! Й-а-а! – погружаясь в глубину неба тонко кричит ястреб, восторгаясь собственной удали.

Обозревая с берега мелководье, уж многозначительно молчит ему в ответ. Прижимаясь тесно к жаркой груди камня, смотрит на него нежно и решительно, заметно бледнеет даже, да только этим дело, впрочем, и оканчивается. Камень горячится, и, избегая удвоить раздор, змей отстраняется, стекая в воду, на ступеньку вниз от того, где шершни морщат поверхность пруда и, чуть отстранив от себя локоток, манерничают осы, отпивая тихо, маленькими глотками.

Скрипят под шагами остья сухой травы, а та, что ещё жива, хватая за ноги, удерживает, просит пощады. Если что, – не сдюжить ей, не оправится, не подняться боле.

На примусе солнца кипит бульон пруда, без какого-либо убытку для его обитателей. Рыбы красиво красны, подменяя лавра, кувшинки вдоволь насыпали листьев от своих щедрот, и всё это обильно сдобрено горчичными семенами ос, мускатом шершней и гвоздикой шмелей. К ужину обещали быть дрозды, но те, по-обыкновению, лишь пошумят, искупаются и, промолив горло, полетят на боковую.

Куриная лапа дубовой ветки цепко держится за горсть золотых листьев, как за твёрдость в вере и добродетели. В такие дни жарко даже ветру.

Ястреб забирает всё выше, так, что кружится голова, если глядеть на него, но разборчиво слышно, как задорно окликает он небо, а оно улыбается ему в ответ.

Салют

Каждый раз, когда я запрокидываю голову в небо, чтобы посмотреть, как самолёт линует поля тетради неба белым карандашом, мне вспоминается россыпь мелких звёздочек фейерверка ракетниц, которую я видел однажды мальчишкой, волшебным победным майских днём.

Это сейчас 9 мая празднуют... так, как празднуют. А раньше мы весело отмечали Первое мая, и оно как-то затмевало День Победы. Мы ходили на демонстрацию, и когда шагали по Тверской, нам дышалось широко, просторно, ей самой подстать. Мы топали без усталости, крича задорно троекратное «Ура!», без счёта и меры. Подтягивая толстые нитяные неудобные колготочки, мелко махали флажками так, чтобы они были похожи на все большие знамёна вокруг, и также красиво развевались по ветру, как они. Жёлтая надпись «1 мая» на флажке вкусно пахла свежей краской, и по сию пору я ощущаю ладное деревянное древко, и то, как приятно было сжимать его в руке – такое уютное, гладкое и шершавое одновременно.

После демонстрации мы всей семьёй усаживались у маленького экрана телевизора, ждали, когда покажут запись и настанет черёд пройти училищу, в котором отучился на командира отец. Иногда он и сам ходил в том строю, и мы пы-

тались отыскать его, и даже, казалось, что угадывали. Впрочем, мы знали, что он там и этого было довольно.

Отцу здорово досталось на войне. Раненый, он даже полежа в госпитале блокадного Ленинграда. Как и все, кто был на фронте, отец совершенно не любил фильмы про войну, и, сколько мы, мальчишки, не приставали к нему с просьбами рассказать, как там всё было, никогда не отвечал, не отшучивался. А однажды и вовсе посмотрел на меня так, что я уж больше не надоедал ему с этим, так как понял, – всё, что нам показывают в кинокартинах, это малая часть того непомерного труда, который выпал на их, – его и товарищей долю. И это то, что имеют в виду, когда просят не ворошить прошлое. Его и забыть нельзя, и рассказывать не надо, чтобы всё оно осталось там, перепрело, как осенние листья к победной весне. Я себе это всё так живо представлял тогда: мы, мальчишки, с огромными вилами, пытаемся перевернуть большую кучу павших листьев, а советский солдат с плаката «Молчи, тебя слушает враг» хмурится грозно и останавливает нас жестом крепкой ладони. Если кому дать «леща» такой ладошкой, мало не покажется.

Так повелось, что дети, чьи родители воевали, тоже считали себя людьми военными, и День Победы считали своим праздником.

Больше всего мне запомнился самый первый, настоящий День Победы и другой, который отмечали через двадцать лет, в шестьдесят пятом.

В сорок пятом я был, всё же, ещё слишком мал, чтобы понимать, что к чему. Нет, конечно, – волны радости со всех сторон сбивали меня с ног, но было нечто, что омрачало настроение. Всю войну мне представлялось, что, как только она окончится, я возьму большой кусок хлеба, огромный кусок сыру, сложу их вместе и стану есть, откусывая большими, во весь рот кусками. И, вот он, наступил этот день, но сыра и хлеба по-прежнему было не достать.

А вот День Победы в шестьдесят пятом я помню совершенно другим... Мы тогда жили в военном городке. Почему-то я был дома, и лежал с книжкой на кровати.

Обычно в этот день мы с ребятами недолго бродили по окрестностям, после забирались в пустой запертый склад, искали случайно просыпанный порох, чтобы сделать из него дорожку и поджечь. Склад размещался в здании старинной башни, круглые окна которой были забиты мешковиной и так обветрились, покрылись пылью, что стали похожи на львиные морды. Они проступали столь явно, что хотелось потрогать их, провести пальцами по широким носам. Ну, а потом, выпросив у взрослых, кто что может, уходили на реку с ночёвкой, где жгли костёр и пекли картошку. Но в этот раз как-то не собрались, – кого-то не пустили, кто-то переел мороженого и надорвал горло первого мая...

И вот, лежу, читаю, как вдруг: «Ба-бах!» – я аж подпрыгнул на кровати. Выскочил из дому и увидел, что на плацу у комендатуры стоят солдатики, человек пятьдесят, а, может

сто, и стреляют в воздух холостыми. Почти как наши в Берлине, в сорок пятом.

Это было пронзительно, до слёз и так торжественно горько... Залпы шпарили душу, словно кипятком. Хотелось плакать, но делать это я почему-то не мог. Помню лишь, чувствую по сию пору, как волосы от мурашек шевелились на голове.

Конечно, после я видел ещё много салютов. Первые рассыпались мелкими блёстками, как настоящие ракетницы, много позже – расцветали пионами и хризантемами, многоцветными вспышками, но такого, как в шестьдесят пятом, я больше не испытывал никогда. Ребята, новобранцы, стояли с суровыми, неподдельно серьёзными лицами, и я, глядя на них, невольно чувствовал сопричастность, был добровольцем в том же строю, где всю войну прошёл мой отец.

Вообрази себе...

Поползень, прикрыв от удовольствия глаза, причёсывался редким гребнем сосновой ветки, когда его чуть не снесло сквозняком, который устроил зяблик.

У того было с утра прекрасное настроение. Он измерял прыжками берег пруда и безудержно, на весь лес смеялся, тренируя язык звуком, похожим на детскую трещотку. Но далеко не каждого радует, если у другого хорошо на душе, да и к месту это не всегда.

Первым возмутился шершень и больно щёлкнул птицу по носу, – он тихо оплакивал утонувшего друга и слышать над ухом смех в сей час было неприятно. Уж, который накануне потерял всю семью и неслышно топил слёзы в пруду, даже решился ухватить зяблика за хвост. Но тот, впрочем, выскользнул, взвился и улетел прочь, не разбирая дороги. От того-то едва не сшиб с сосны поползня и лоб в лоб столкнулся с бабочкой, которая хотела провести свои последние часы в покое, наблюдая за мирным мерцанием воды пруда. Но увы, сбыться сему было не суждено.

Крылья бабочки, потерявшие волю в один миг, неловко и стыдливо, словно лепестки диковинного цветка, опустились на берег, о котором мечтала их хозяйка. Важный от сытости малыш малиновки тут же подхватил узорный напудренный листок крыла, и принялся обмахивать им от пыли ветку, на

которой сидел, как салфеткой, а в это же время, другим крылом утирали носы расторопные муравьи.

Так бывает, если твоя чрезмерная радость или нечаянный излишний испуг обращаются для кого-то горем, крушением надежд или самой жизни.

Умеренность, она хороша во всём.

Вот ведь и зяблик, – не желал, не думал, не мог себе вообразить...

ВЫЗОВ

Белый мотылёк нежно обнял белоснежный колокольчик за шею и, притянув его голову к себе на плечо, прошептал на ухо:

– Бедный-бедный, как мне тебя жаль!

И даже не сбив дыхания, но изображая дурноту, тут же попросил:

– Нет ли у тебя вдруг воды?

Цветок, опешив от такой бесцеремонности, слегка отстранился, но так как был отзывчив и слаб душой, да к тому ж всегда держал немного любой влаги прозапас, указал гостю, где её взять. А, пока тот пил, не удержался поинтересоваться:

– Отчего ж ты меня жалеешь?

Утерев мокрые губы, мотылёк не без охоты отвечал:

– Мы с тобой как братья, мои крылья похожи на твои лепестки. А различает нас лишь то, что один умеет летать, а другой нет.

– И... ты, конечно, решил, что я -тот, другой, который не умеет?! Но почему?! Ночами, когда ты спишь...

– Ой-ой-ой, не хитри, даже не пытайся! Куда тебе! Я видел, как на закате ты складываешь свои белые крылышки гармошкой. Быть может тебе и мнится, будто летаешь... во сне, но наяву – только я!

Колокольчик вздохнул беззвучно, огляделся вокруг, и как-то нехорошо, не по-доброму решительно нагнув голову, сделал усилие, так что лепестки его скрипнули. Надломившись, он приподнялся со своего ложа⁵⁹, как бы собираясь с духом, немного повременил, но вдруг, раскачавшись, словно цирковой гимнаст, запрыгнул на подножку скоро проходящего ветра и исчез из виду.

Мотылёк не успел даже охнуть, так стремительно всё произошло, но, когда заметался, чтобы поспеть за цветком, понял, что уже опоздал. Да и куда там, не угнаться бабочке за ветром.

Если бы сделалось невозможное, и мотылёк настиг колокольчик, он бы услышал, как ветер грубит, высаживая безбилетного пассажира. И увидел бы то, как тонкие прозрачные лепестки крошатся о гравий дороги, истекают соком и, смешиваясь с пылью, превращаются в кашицу, которой побрезгают даже муравьи.

К сожалению, мотылёк ничего этого видеть не мог. Высокомерие лишило его осторожности, и первый же птенец, что предложил ему «выйти поговорить», уже через мгновение сыто стряхивал белую, будто сахарную пудру со щёк.

Жаль, что всё случилось именно так. Не будь того, произошедшее с цветком научило бы мотылька обращаться со

словами бережно, как с бабочками.

Намерение подчеркнуть своё превосходство губительно. И для того, кто заявляет о нём, и для того, кто принимает его за вызов.

Уж облака...

Уж пил так вкусно и степенно, что казался похожим на щенка с прижатыми к голове ушами и чрезмерно длинным телом. Ему не мешали ни щекотавший его под лопаткой шершень, ни рыбёшки, что, раздувая мехами жабр огонь озорства, норовили ухватиться за червячок языка. Даже лист кувшинки, который делал вид, что пытается перекрыть доступ к воде своим лоснящимся боком, совершенно не был ему помехой.

Когда уж закончил пить и, обратившись к солнцу холодной стороной, повернулся против часовой стрелки, шершень, распугав рыб, скатился в воду, и начал громогласно тонуть.

Со стороны барахтанье выглядело продолжением веселья, уж помнил, что оса⁶⁰ плавает не хуже прочих. Но то ж на животе, а шершень упал в воду на спину, перевернуться не выходило, и, сколь не старался он, выгрести к берегу не мог.

Как только уж понял, что это не забава, тут же передумал загорать и, легко перенырнув пруд, играючи поддел баловника, после чего, улыбнувшись круглым глазом, закинул его в крапиву.

⁶⁰ шершень – оса

Сугробы облаков, навалившись пышной грудью на плечи леса, горбатили ему спину. Облакам было весьма любопытно поглядеть на то, что делается внизу, и узнать, как там с шершнем, и к чему это осы прячут сладости в складках пелёнок мелких шишек туй. Зачем птицы, которые устроились в беседке под яблоней, не заботятся больше об обеде, а обходятся одной лишь переспелой мякотью плодов со светло-розовыми гусеницами внутри⁶¹.

Занятно было подглядеть им и за тем, как хмель примеривает тяжёлые составные серги к несоразмерно крупным, волосатым ушам сосны, а та смущается, да легонько толкает прочь от себя его тонкую руку. Облакам было не расслышать, что такого он нашептал ей, и чем, собственно говоря, соблазнил, но к вечеру сосна уже красовалась в сергах, а хмель самодовольно поглядывал вокруг, по-хозяйски приобняв её за пышную талию, шевеля при этом усами.

Так бы и зевали облака, пытаясь понять, что к чему, если бы ветер не прогнал их, заставляя не сидеть без дела. Сам же, стряхнув остатки тепла с веников стволов, принялся расставлять их сушиться, рукоятью к земле, где, почти попадая в такт мелодии тени, медленно тёк ручей.

То уж, почти не касаясь прожжённых солнцем берегов травы, тихонько шёл домой. Даже не открывая календаря, он

⁶¹ гусеницы плодовой

мог бы сказать, мол, – лета-то ещё и не случилось вовсе, а коли б и заглянул, то оказалось бы, что оно вовсе уже прошло.

На изломе дня

Осень... Поползень торопит её, срывая пожелтевший с края вишнёвый листочек, нервно наблюдает за нерасторопным от изумления его падением, и лишь уверившись, что тот лёг на нарочно приготовленное место, срывает следующий.

Низко над землёй, в золотой траве летают осы. Обегая сухие вишнёвые косточки, спешат домой муравьи и, поднимаясь по этажам ветвей, устраиваются на ночлег.

Улиткой по небу плетётся виноград, крадётся, щупая усам воздух и всё, что в нём. Грустит, наблюдая стыдливую спелость калины, той ждать аж до третьих морозов зимы, но уже налита и румяна.

Но лишь только чешуёй розовых облаков засеребрится закат, так, будто из треснувшей чаши, сочится кислый запах слив, горчит и вяжет аромат яблок. Голова кружится от него!

Кабаны почти спокойны, шарят по карманам земли, ждут наступления сумерек, а косулям невтерпёж начать пировать, и, готовые сорваться с места, скрыться из виду в любое мгновение, тянутся они мягкими губами к откатившемуся ближе в лес яблочку... Лишь короткую стрижку ежа можно заметить на тропинке в саду уже теперь. Он – тот ещё тонкий ценитель. Чуждый грубой манере вкушать плоды, лишь вдыхает их повторяющийся из года в год аккорд, ищет новые терп-

кие нотки, зрелые глубокие звуки, полутона...

Кутаясь в звонкие щемящие запахи, путаясь в них, как в пыльном заднике сцены, можно стоять, дожидаясь всё новых картин, пока не задуют последнюю свечу первой звезды утра...

Лишь об одно запинается взгляд сердца, – излом берёзы, словно очертания фигуры с поднятыми кверху руками. Кого молит она о пощаде? К кому взывает она? То осень просит лето не уходить...

Неважное

Удар по оконному стеклу был подстать удару в него ночью, когда не разглядеть – кто стукнул и для чего. Второй, едва ли не через мгновение и уже в другое окно, было слышать не столь тревожно, но весьма огорчительно: пылью, всплеском, сдержанным едва криком птенца оправдался он.

Я выскочил во двор, чтобы успеть спасти малыша. С отчаяния рвал свалывшийся чуб хрена, гнал прочь истекающие белым соком одуванчики и пырей, растягивал перманент мыльнянки и вьюна. И вот, когда уж голова кружилась от колкостей крапивы и язвительности чистотела, расслышал за спиной мелкое, приглушённое хихиканье. То зяблик, пухлый бутуз со своею по неволе стройной мамашей, сочувственно глядели на меня и нервным смехом старались привлечь внимание, чтобы я прекратил бесчинства и оставил в покое разнотравье.

Оглянувшись на птиц и оглядев траву под окном, я заключил, что, не след расправляться до поры с пружинным матрасом сплетённых промеж собой растений. Он сбережёт неловкого ещё птенца от удара о жестокую твердь сухой земли, поможет не испугаться, не передумать вновь и вновь стараться взлететь.

Вздохнув, с грустным бессмысленным негодованием оглядел я нарочно невымытые стёкла. Испещрённые выбившимся из-под подкладки оперения пухом, они представлялись мне зримой преградой, которой следует сторониться, но судя по тому, как её использовал зяблик, то был для него словно бы батуд, оттолкнувшись от которого он мог научиться летать.

Каждому, кто стремится овладеть сим умением, приходится использовать то, что отыщется под рукой. Неважно, что это будет, – одобрительный взгляд или доброе слово, шаткая палуба или осыпающийся под ногой клочок земли, но нужно использовать то, что имеешь, чтобы взлететь, куда однажды порешил⁶².

⁶² решить

Разумение добра

В тумане лунного света лес кажется намыленным, и оттого взгляд скользит по нему, не в силах остановиться. Лоно земли, доверху наполненное зримой невесомой кисеёй влаги, скрадывает округлости и формы всего, что было бы возможно заметить, не случись сей напасти. Пользуясь мглой, как благоприятною минутой, земля пытается развлечь себя, хотя немного. Всё, происходящее на ней, кажется столь несущественным и ненадёжным, что искать отраду ей приходится в себе самой. Временами это удаётся, и чудится даже, что она вправду любит всё и вся, к чему ни обратится душой или взором.

Но те мучения, что доставляют, подчас, эти переживания, наводят на грустные размышления о том, что любовь, – если терзает, вовсе не любовь.

Настоящая, она наполняет спокойным счастьем и умиротворением. И лишь волнение о том, что не наделил кого-то своей любовью, лишает её света и полноты. Сгорая в камине собственной совести, измотанные виной за нелюбовь к тем, кому неспособны ответить тою же монетой, оставаясь в долгу навечно, омрачаем этим мгновения счастья, что находят нас после.

Мы зависимы от каждого, кому смотрим вослед с надеж-

дой, что тот обернётся, помашет рукой, улыбнётся губами, глазами, – хоть как. Круговорот неразделённости повторяется из века в век, и одна и та же душа, безнадежно влюблённая в другую, меняет облик, словно маскарадный костюм, но лишь осознав вполне тщетность затеи, может рассчитывать на взаимность. Кажется, что так. Наверное. Может быть.

Поворачиваясь к случайностям и оказиям разными сторонами себя, отыскиваем мы подходящие текущему положению вещей. Откупоривая сосуды неведомых ещё признаков зла и добра, тревожимся их внезапности, непохожести на нас прежних. Открываемся себе, разочаровываемся или напротив, думая об себе хуже, чем есть в самом деле, стыдимся. Выходит, что изрядная доля неловкости – залог осознанности бытия, тонкая прочная оболочка, которая удерживает нас в себе.

Вне ритма биения сердца, любое слово – пустой звук. Без любви – иная жизнь лишь наблюдение, сторонний взгляд, чужое воспоминание о ней.

Раннее утро, что обещает длинный день, часто обманывает нас. Время, растраченное на обиды и неприятия зла никогда не вернётся, в отличие от того, что вложено в разумение добра.

Слёзы

Петухи смеялись над ним. Месяц, что с трудом бежал из объятий предыдущей ночи, ворвался в следующую, оступился и упал неловко, разодрав расстеленное ко сну одеяло неба. Пух, хлопчатая бумага или что-то ещё, по очертаниям похожее на комья неумело стготовленной каши с черничным вареньем, обмотало или вымазало указующий на закат острый нижний край месяца. У верхнего же, на манер чуба или бахромы штандарта, развевались мелкие жалкие седые пряди облачков.

И, всё бы ничего, мало ли что бывает, но из-за неловкости, смущения, либо от чего-то ещё, месяц, не скрываясь зарыдал. Весомые капли его слёз будили сострадание, баюкали лень и дрему, да всё это в одно время, от чего рассудок, рассыпавшись звёздно, оказывался везде и от того же как бы совершенно нигде.

По причине дождливой погоды попрятались летучие мыши, ежи, выпы и даже совы, а потому – месяцу не в ком было искать сочувствия, окромя себя самого.

В мотивах своего настроения разобраться он не мог, неучтивость к нему разноцветной несуразной птицы с дурным голосом, уж точно не могла быть основаньем сего. И от того, продолжая рыдать, и даже войдя во вкус, он наслаждал-

ся ручьями слёз, что, обгоняя один другого бежали по его бледному виску, шлёпали с оттяжкой влажной липкой дробью по дряблым щекам грязи, глуховатым эхом ударов склонившую голову травы, и непродолжительной, давно оглохшей перебивкой поверх подоконника.

Счёт слезам, как и звёздам, конечен, поэтому, едва лишь очередное стаккато капли заменялось полукружием вздоха, дождь запинаясь, начинал было всё заново, но уже с меньшей охотой, и так постепенно сошёл на нет.

Небо прояснилось. Петухи вновь принялись кричать наперебой нечто оскорбительное в спину месяцу, но тому было уже не до них. Вырвавшись из пут облаков, он не стеснялся боле: ни случившихся слёз, ни случайного одиночества. Там, впереди, не теперь, но очень скоро, ждала его луна, что всегда полна утешительных надежд. И, хотя серебристые дорожки, что расстилает она на полянах морей, так же солонны, как следы, что оставляют после себя слёзы, и за их спинами любая капля радости горька, — она там непременно есть. Месяц верил в это и светился так ярко, как умел.

Мечты

Нас связывают года и люди,
творения и несбывшееся,
от которого тепло на душе...

– Я всегда мечтала уметь рисовать...

– Бери кисточку и рисуй.

– Да ну, у меня не получится.

– Нельзя так с мечтой. Она не является без приглашения.

– Не, боюсь.

– А ты не бойся.

– Холст такой...

– Какой?

– Большой, чистый. Я его выпачкаю, дай мне другой, пожалуйста, грязный, который не жалко.

– Грязный... для мечты!?

– А вдруг я сделаю что-то не так!?

– Но зато сделаешь!

Я вижу, как сейчас, – огромный холст, радуга палитры, свинцовые тюбики с красками и волшебные палочки кистей. От одного лишь воспоминания о стойком запахе растворителя начинает приятно першить в горле.

Афиша, написанная моей рукой, не повисела и дня, но... разве это важно?! Желание выразить чувства красками не исчезло никуда.

У слов и звуков свои оттенки и ароматы. Желание дотронуться до них сердцем так же неутолимо, как то безотчётное стремление уловить волнение художника, мускус его взгляда, бережно сохранённый мазками, смущением и неоднозначностью цветов, тенями и глубинным мерцанием света – порождением огнива его души.

Подобное только кажется преувеличением или выдумкой. В самом деле, настоящее, жизнь выглядит именно так, а рутина, обыденность – она и есть фальшивка.

Если кто-то подменяет яркие краски бытия на истёртые грязной сухой кистью или закоростеневшие в ванночках и тубах, – гоните его от себя прочь.

Это ваша жизнь, ваш холст, ваши мечты.

Я сам!

Сквозь пыльный от яркого солнца взгляд, замечаешь лишь границы, с усилием хранящие целостность ступеней, стен, глазниц оконных проёмов в захватанных пенсне стёкол. Светится трафаретка облака с вырезанным в нём силуэтом горящего дуба. Самоцветы капель сосновой смолы сияют из оправы почек розового золота, на чёрном бархате припавших к ним шмелей.

Внимаешь лишь сути, минуя досадные мелочи, что теряются, как несуществующие и несущественные от того. Сердечное свечение глаз искупает прочие ущербы. Мелкие и широкие шаги в сторону от некоего мерила, которому не подстать все, жалят надоедливо и упорно, пока не укажут на своё истинное значение, – быть помехой радости всего сущего, настойчиво отвращать от него, в угоду чуждым, чужим.

Оттолкнуть, отстранить тебя от себя самого, – это ли не зерно, что, возрастая, тянется корнями в никуда, роняет сквозь пальцы почву родной земли, теряет её, цепляясь за пустоту, за вздорную пустошь, изрезанную, полную пустот масляную бумагу, по которой некто стремиться расписать покои твоей судьбы, по своему разумению, для своих утех.

Прежде, чем сказать: «Я сам!», – проверь, так ли это, твои ли слова. Загляни в зеркало воды, неба и глаза тех, кто тебя любит так, как ещё не умеешь сам.

За что любят? Они уж знают. Им со стороны видней.